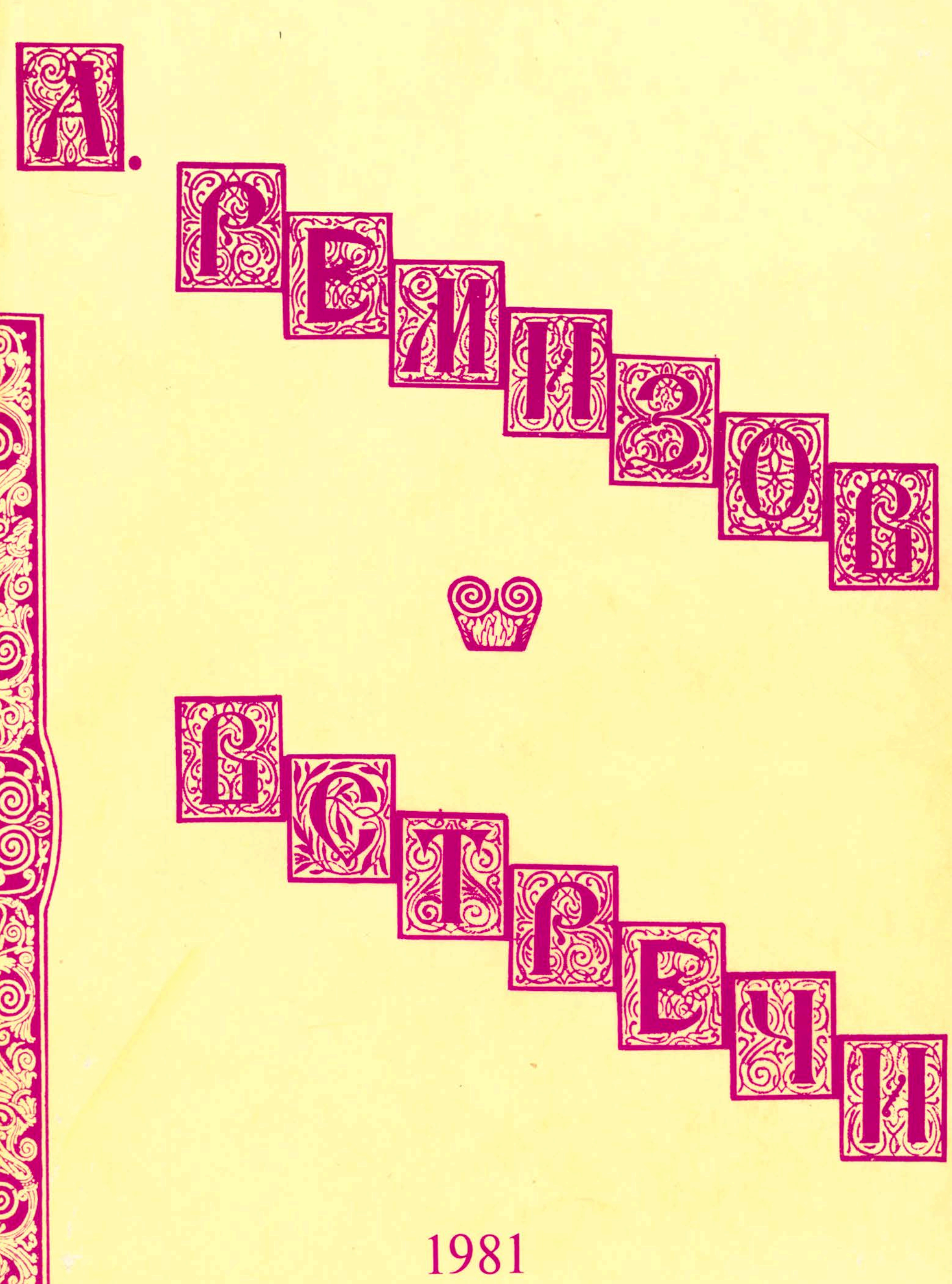
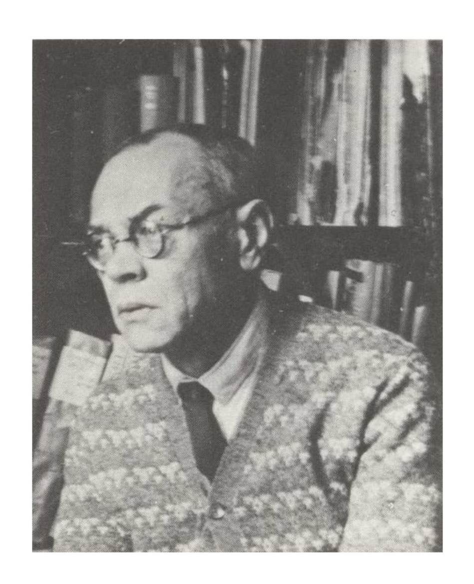


1981





А. Ремизов

А. Ремизов

ВСТРЕЧИ

Петербургский буерак

LEV
85.Rue Rambuteau
75001 Paris

Петербургский буерак подымается погуром над Парижскими холмами.

Моя жизнь раскололась. С августа 1921-го в Европе, прошел через Германию и завековал в Париже.

Никогда, а только за границей я почувствовал себя, что русский: я не чужой вам, но я по-своему. А моя память о русском ярче будь была бы, живи на родной земле среди своих, в России.

1950

Париж

ШУРУМ-БУРУМ

Книгу "Стернь" называю ШУРУМ-БУРУМ именем моей первой книги, куда входили завитушки с тюрьмы до этапа в Усть-Сысольск (с 18. XI. 1897 по I. VII. 1900). Книга завалялась - годы ее держал Брюсов в "Скорпионе", пробовал я ее исправлять и много мучился, не зная, с какого конца, и кончил тем, что уничтожил в Одессе в апреле 1904 г.

В Усть-Сысольске в 1901 году я уничтожил дневник с 1884 г., где был и мой семилетний "Убийца" - "концы в воду". Так и меня, придет срок, уничтожат: и концы в воду.

Хочу собрать в этой книге завитушки моей последней памяти на моей вечерней заре, которая вот-вот погаснет, как мои глаза (на правый почти ничего не вижу,а левый - 15 диоптрий).

Слово "Шурум-бурум" ничего не означает, это татарская выкличка. Когда-то на Москве "князь"-татарин, скупщик старья,идет по улице, выбормачивая "шурум-бурум". "Шурум-бурум" звалось, что заведется в хозяйстве "на выброс", всякая заваль, ветошь, лом. Татарину все сбыть можно, не стесняясь, и не стеснишь: мешок его бездонный.

Вот я и собираю из своего скарба,не осталось ли чего - бедновато, ну, татарин все возьмет.

1945-1948
Париж

На большую дорогу

1
КУВЫРКОМ

Моя литературная жизнь шла кувырком. Со мной все так: подъем и срыв. Прожил жизнь скачками. Падения мои были мне очень чувствительны, но особенно одно - на карикатурах жирная морда,паук с ножницами над грудой книг. С вытянутой шеей, поджав хвост.

Когда и с чего пошло имя - стали меня знать?

Началось с "Пруда", 1905 г. Печатался без окончания в "Вопросах жизни" (редактор Н. А. Бердяев). Полная редакция в книге, изд. Сириус,1908 (С. К. Маковский). Известность сомнительная. Приговор "декадент" говорилось с раздражением. Необычность формы - не по так принятому - "нарочито" и "претенциозно" - оклеивали мои фразы этими ничего не значащими определениями, сменившими "вялость слога" и "недостаток воображения" 30-х годов прошлого века. Соваться в порядочные журналы - Мир Божий, Русское Богатство, Вестник Европы, Русская Мысль - заказано. И я пошел по задворкам на затычку.

Моя первая книга "Посолонь" - сказки 1907 г., - прошла незаметно для большого круга. А в отзывах для немногих читаю о себе, своем "русском" все те же "нарочито" и "претенциозно" с прибавлением "юродство". Та же участь и второй моей книги "Лимонарь" - русские апокрифы - 1907 г.

"Посолонь" и "Лимонарь" обратили на себя внимание академика Алексея Александровича Шахматова. По его совету я послал книги в Академию Наук на "соискание" академической награды. Ближайшие к Шахматову были убеждены в успехе. Но президент Академии Наук

в. к. Константин Константинович, К. Р.,автор "Царь Иудейский", мое ходатайство отклонил, поставя свою резолюцию на "Посолонь" и "Лимонарь" - "не по-русски-де написано". Трудно было поверить. С ведома Шахматова я послал повторные экземпляры. Пушкинскую серебряную медаль присудили Поликсене Сергеевне Соловьевой (Allegro) за книгу стихов.

Меня знали на верхах не только как "декадента" - имя крепко захрясшее в мое имя. "Часы", роман и "Полунощное солнце", сборник 1908 г., прошли незаметно. К моему имени прибавилось недоразумение: на первых порах цензура подвела обе книги под кощунство и порнографию. Издатель Саксаганский (Сорокин) испугался, а ему говорят: "Да это ж реклама, увидите,какой будет расход книгам" - но когда разъяснилось и с книг сняли запрещение, и тут произошло недоразумение: на благонамеренное кого потянет.

Льву Шестову на его "Апофеоз беспочвенности" я насчитал семь читателей, а он на мои "Часы" - пять.

Недоразумения так не проходят - знал,жди скандала. Не могу сказать, когда и где, но без скандала не обойдется.

С 1905 третий год шесть книг ("Посолонь", "Лимонарь", "Морщинка", "Часы", "Полунощное солнце", "Табак") дожидались седьмой ("Пруд"), а я все еще хожу с моими сказками по задворкам - темным углам литературы, их сует куда попало мой благодетель и кум Александр Иванович Котылев - король петербургского шантажа, газетной утки и скандала.

О ту пору вышел сборник Н. Е. Ончукова "Северные сказки". В сборнике принимал участье А.А. Шахматов,а среди записей сказок значилось имя: М.М. Пришвин. Нашего первого сказочника Вл. И. Даля - сказки, пяток первый 1832, казака Луганского - увлекал сказ: он слушал, глядя на сказочный матерьял. В 20-30 годах было ново, чувствовался переход от литературной речи к живой разговорной (эпистолярный жанр - Пушкин, Вяземский, Батюшков), а в сказках ничего от литературы, живая природная речь. Те-

ма, сюжет, композиция для Даля неважны. Только по признаку сказа живут сказки казака Луганского.

В наше время сказ не открытие - сказ пророс литературу - сказу будущее, а литературное барахло и самых блестящих стилистов свертывается серебряной змеиной кожей.

Сказочный матерьял для меня клад: я ищу правду и мудрость - русскую народную правду и русскую народную мудрость, меня занимает чудесное сказа - превращения, встреча с живыми, непохожими - не человек и не зверь, я вслушивался в балагурие, в юмор, я входил в жизнь зверей, терпел их долю.

Сказка мне не навязанное, а поднятое, любимое.

Своим голосом, русским ладом скажу сказку - послушайте.

На Варварин день 1908 г. на театре В. Ф. Комиссаржевской играли мое "Бесовское действо" - "Святочное представление или масленичное гуляние с чертями", по определению цензора барона Н. Н. Дризена. Режиссер Ф. Ф. Комиссаржевский - его первая постановка - встречен аплодисментами, М. В. Добужинский - его первые декорации - встречен восторженно, а я под дождь свистков слышу сквозь неистово хлопают: "Балаган!"

"Бесовское действо" было вызовом - наперекор погоне за утонченностью петербургских эстетов, что потом мещанским жаргоном Б. и М. Подьяческих выразит Игорь Северянин (Лотарев).

Карикатуры - особенно угодила: сижу на плечах у В. Ф. Комиссаржевской, руками крепко за шею - вспугнутые глаза Комиссаржевской выкатились на лоб. Скандалы на спектаклях, газетные отзывы и ругательные письма подняли мое имя, как при появлении в "Вопросах жизни" первых глав моего "Пруда". Известность сомнительная, пожалуй, и скандальная.

"Когда ты прекратишь свои безобразия?" - эти слова, по-другому сказанные, я слышал от моих одиноких доброжелателей.

Но что делать, видно, такая моя природа. Умышленно - нарочно - я ничего не делал - не вытворял

- мои книги из души, исповедь, мои слова и строй слов не выдумка.

В литературных кругах "Бесовское действо" не изменило мнения обо мне - автор "Пруда"! - но,я заметил, вызвало любопытство.

К. И. Чуковский говорил обо мне с В. Я. Светловым, и в "Ниве" согласились, но чтобы без всяких "хвостов" занимательный рассказ. Чуковский передал моего "Корявку" из петербургской жизни. Корявку приняли.

Я познакомился с Аверченко. Аверченко сказал:

- Чего вы связываетесь со всякой... и ваши сказки суете в... Давайте нам в "Сатирикон".

Аверченке я отнес особенно меня тронувщую сказку "Берестяный клуб" - русская правда: "за преступление не осуди, а преступника пожалей".

Попадись эта сказка Л. Н. Толстому - 1909 г. - Толстой еще жил на свете - эта сказка вот порадовала бы.

Д. А. Левин, видный сотрудник "Речи" (Милюков-Гессен),мой покровитель. На Рождестве в "Речи" прочту мой рассказ. Д. А. Левин не мог одобрять мои завитушки, юрист, привык выводить одно из другого, а закрюченный завиток "логически" никак не выведешь. Передавал он мои рукописи по дружбе к Л.И. Шестову, товарищи по Киеву. Да и А. М. Левина перед Рождеством обо мне напоминала.

* * *

В каждом городе в своем кругу есть своя "первая красавица". В Усикирке - Нина Григорьевна Львова, в Мурманске - Холмогорова-Одолеева, в Усть-Сысольске лесничиха, в Ревеле (по Иваску) сестры Кристин, Ирина и Тамара; в Берклее - Ольга Карлейль, внучка Леонида Андреева, в Нью-Йорке - говорю со слов художника Иосифа Левина - первая Рубисова, - Эльф; в Брюсселе - О. Ф. Ковалевская, в Париже - Кутырина. А в Петербурге в 1905 - Тумаркина и Беневская, а позже Анна Марковна Левина.

В детстве про меня говорили с досадой да и в глаза: "уродина". Мне всегда хотелось спрятать лицо, и я, как ошпаренная крыса, судорожно кулаком умывал себе глаза. Но однажды моя кормилица, здороваясь и неповторимым ласкательным назвав меня, прибавила: "красавчик ты мой!" Я поднял глаза, не веря. Она повторила. И я почувствовал, как я наполнился и вырос, мне захотелось всех всем одарить, и чтобы все глядели,как я сейчас,не прячась. Я представляю себе человека, с утра подымается с сознанием своего природного богатства, своего первенства, да может ли быть у такого человека хоть тень злой мысли. "Красота" - приветливость и щедрость.

У Левиных я познакомился с Горнфельдом. А.Г. Горнфельд критик "Русского Богатства".

Как все горбатые, а у Горнфельда еще и с ногой нелады, говорил он, особенно отчетливо выговаривая слова и как-то не по-взрослому незлобиво.

У Анны Марковны два верных рыцаря: Л. И. Шестов и А. Г. Горнфельд. Едва ли она что-нибудь прочла из моего. Давид Абрамович любил повторять о Шестове: "возится с сумасшедшими" - на первом месте поминалось мое имя, потом Е. Г. Лундберг, а потом, хоть и не сумасшедший, а постоянно с сумасшедшими "стихотворец из врачей", Аз Акопенко Андрей,исключение делалось только для Семена Владимировича Лурье.

Надоел я Давиду Абрамовичу хуже горькой редьки - вот когда можно употребить это сравнение, не боясь преувеличения и того, что оно в зубах навязло и потеряло вкус.

- Почему бы вам не напечатать Ремизова? - сказала Анна Марковна. Самое неожиданное и противоречивое могла она сказать своим рыцарям.

Горнфельд не сразу ответил: разве он мог в чем-нибудь отказать Анне Марковне.

- Нам надо серое, - сказал он.

Я подумал: "о мужиках".

- Как Муйжель.

- Я о мужиках не умею, - сказал я.

И подумал: "Хорошо, что мужики не читают наших рассказов о мужиках, то-то б было смеху!"

Улитка разговора перешла на другой предмет,как выражался Марлинский.

А я о своем - и до чего онаглел под свист "Бесовского действа"! - вдруг, думаю я,у меня окажется свое серое, и я попал в "Русское Богатство"!

"Сатирикон" и "Нива" впереди - путь чист,а пока единственный мой благожелатель Александр Иванович Котылев. В последний раз принес мне пасхальный номер "Скетинг ринг" с моей сказкой "Небо пало".

"С этими господами жалко руки марать! Васька Регинин: "Что, говорит, мы не дети, со сказками,да Ремизова никто не понимает!"

Я упомянул о Аверченке, о "Сатириконе".

- Помойная яма, - с раздражением отозвался Котылев, - Аверченко - преемник Чехова? Да у Чехова душа, а у Аверченко...

Котылев был недоволен, что "Берестяной клуб" я отдал Аверченке.

За "Небо пало" я получил полтора рубля.

2

небо пало

Ходила курица по улице, вязанка дров и просыпалась. Пошла курица к петуху:

- Небо пало! Небо пало!

- А тебе кто сказал?

- Сама видела, сама слышала.

Испугался петух.

И побежали они прочь со двора.

Бежали, бежали, наткнулись на зайца.

- Заяц, ты, заяц, небо пало!

- Тебе кто сказал?

- Сама видела, сама слышала.

Побежал и заяц.

Попался им волк.
- Волк, ты, волк, небо пало!
- Тебе кто сказал?
- Сама видела, сама слышала.
Побежали с волком.
Встретилась им лиса.
- Лиса, ты, лиса, небо пало!
- Тебе кто сказал?
- Сама видела, сама слышала.
Побежала и лиса.

Бежали они, бежали. Чем прытче бегут, тем страху больше, да в репную яму и попали.

Лежат в яме, стерпелись, есть охота.

Волк и говорит:

- Лиса, лиса! прочитай-ка имена: чье имя похуже, того мы и съедим.

- Лисицьно имя хорошо, - говорит лиса, - волково имя хорошо, зайцево хорошо и петухово хорошо, курицьно имя худое.

Взяли курицу и съели.

А лиса хитра: не столько лиса ест, сколько под себя кишки подгребает.

Волк опять за свое:

- Лиса, лиса! прочитай-ка имена: чье имя похуже, того мы и съедим.

- Лисицьно имя хорошо, - говорит лиса, - волково имя хорошо, зайцево хорошо, петухово имя худое.

Взяли петуха и съели.

А лиса хитра: не столько лиса ест, сколько под себя кишки подгребает.

Волк прожорлив, ему, серому, все мало.

- Лиса, лиса! прочитай-ка имена: чье имя похуже, того мы и съедим.

- Лисицьно имя хорошо, - говорит лиса, - волково хорошо, зайцево имя худое.

Взяли съели и зайца.

Съели зайца, не лежится волку: давай ему еще чего полакомиться!

А лиса кишки лапкой из-под себя загребает.

И так их сладко уписывает, так бы с кишками и самоё ее съел.

- Что ты ешь, лисица? - не вытерпел волк.

- Кишки свои... зубом да зубом... кишки вкусные.

Волк смотрел, смотрел, да как запустит зубы себе в брюхо - вырвал кишки - да тут и околел.

- Что курица, что волк - с мозгами голова!

Облизывалась лиса, подъела все кушанье, выбралась из ямы и побежала в лес - хитра хитрящая.

3

разоблачение

Самое лето. Только утром еще ничего - в Москве перезванивают к водосвятию, в Петербурге музыка - парад или хоронят генерала, а с полдня накинется жара и до самого вечера морит.

Весь день мы провели в Куоккале у Чуковского. У них тесно, но все-таки Куоккала не Петербург,возле дома не трубы газового завода, шумят деревья.

Корней Иванович, свертывая трубочкой губы,рассказывал о Репине - Репин пишет его портрет и питается сеном. Мне это запомнилось - какой, значит, Чуковский знаменитый, и сено - я себе представил, ем сено - в "сыром виде" без хлеба, без масла. Пили чай на балконе. Чуковский с умилением представлял, как говорят дети - у него сын Коля - и за детскими словами в горле у него булькало. Потом он составит словарь - детский язык.

А я о деньгах. Мне все равно,или я представляюсь, что мне все равно, но Серафиму Павловну тянет на волю. Как достать денег: много ль от Котылева,и все труднее. Чуковский обещал поговорить со Светловым - в "Ниве" лежит моя "Корявка".

Чуковский в своих критических фельетонах в "Понедельнике" у П.П. Пильского никогда обо мне ниче-

го не писал, я для него "несуществующий писатель", но к моей судьбе у него полное сочувствие,и он всегда готов мне помочь. Отчего - не знаю. Или это тоже моя судьба? Мои благожелатели - Розанов,Шестов, Бердяев, а ведь в их книгах имени моего не существует.

Вечером вернулись в Петербург. На Финляндском вокзале я купил вечернюю "Биржевку". Развернул - и прямо мне в глаза жирным шрифтом заглавье: "Писатель или списыватель?" В тексте мелькает мое имя, не А., а "г". - разобрать не могу, но чувствую,дело не о бесовских хвостах, вышучивание, а что-то не в шутку. Статья - вся страница. Подпись: Аякс, псевдоним А. А. Измайлова. Разберу дома.

И подумалось: "Чуковский обо мне не напишет, а тут Измайлов - Александр Алексеевич Измайлов (1873-1921), имя куда громче Корнея Чуковского, и с ним считаются - вечерняя "Биржевка"!

В заглавии "Писатель или списыватель" мне показалось что-то не совсем. Дома разобрал.

А. А. Измайлов уличает меня в плагиате. Приводятся параллельно два текста сказки "Небо пало": мой из "Скетинг Ринга" и оригинал из сборника Н. Е. Ончукова. Читать глазами, как это принято,видимой разницы никакой. Ссылаясь на справедливый приговор читателей, который может быть только один: сказка списана, а выдана за свою, Измайлов заканчивает торжественно: "как возможно терпеть в среде честных писателей подобного сочинителя, как г. Ремизов?"

Для меня загадка: третий год печатает Котылев мои сказки, почему же только теперь Измайлов обратил внимание на мою воровскую природу,обличает публично и требует по справедливости возмездия?

Я пересмотрел все Котылевские листки, программы, приложения, до последнего номера "Скетинг Ринга" с моими сказками, и вдруг понял: везде под заглавием сказки, подзаголовок "народная сказка" и только под "Небо пало" никаких объяснений,непосредственно текст. Как это случилось,не могу придумать.

Стал я себя судить. А правда,в этой сказке,говоря по ученому, амплификаций (распространение) и интерполяций (вставка) незначительно, но это ничего не значит, все по качеству матерьяла. Кому придет в голову в этой сказке, подписанной моим именем, видеть не народность и безо всяких объяснений.

Мне казалось все так ясно, и мне не в чем упрекать себя и объясняться.

Я пошел в "Сатирикон".

В редакции я застал много народу, но не успел ни с кем поздороваться, все вдруг поднялись и к выходу. И я остался один.

Аверченко сосредоточенно рассматривал какие-то полицейские бумаги.

- Аркадий Тимофеевич!

Он с удивлением посмотрел на меня и заговорил. Трудно понять, ко мне это или о полицейских бумагах, поминались "условия" и что "он никого не подозревает".

- Я пришел справиться о моей сказке "Берестяный клуб": когда будет напечатана?

Об авансе я промолчал.

Аверченко прямо посмотрел на меня.

- Впредь до разъяснений ничего не могу сказать вам.

Я понял, жалко поклонился и вышел.

Пропал Чуковский. Вот когда так надо, а его и нет. Я еще хорохорюсь. Но замечаю: отчего-то все со мной говорят в сторону. Набор попавших на язык слов и не глядя мне в глаза. Так разговаривали приятели с Чичиковым после разоблачения Коробочкой.

В "Ниве" Светлов меня не принял. Я спросил секретаря, о "Корявке".

Секретарь подумал - "Корявка"?

- Корней Чуковский передал.

Секретарь вышел к редактору.

Я жду. Входят все незнакомые "настоящие писатели". Если бы сейчас Чуковский. Чуковского Репин пишет!

- Никаких ваших рукописей у нас нет! - сказал секретарь и обратился к настоящему писателю. Не оглядываясь, я вышел. И у меня было чувство тех "просителей", кого не велено пускать.

Приходил Пришвин. Вздыбленный. Бубнит по-елецки. У Ончукова "Небо пало" его запись, в моей редакции сказка звучит отчетливее - рассказчику подвесили язык. Дело не в количестве слов, а в выборе слов - и одно-единственное может распутать и пустить в ход. При беглом чтении текстов можно и не заметить. Эти свои соображения по поводу обвинения меня в плагиате он изложил по-газетному - он сотрудник "Русских Ведомостей" - и отнес в "Речь" И. В. Гессену, уверенный - напечатают. Но Гессен не принял его опровержение и печатать решительно отказался. А Ганфман сказал: "С "Биржевкой" "Речь" не может полемизировать - всякий спор принизил бы ее достоинство".

- Не знаю, что и делать.

В тот же день Р. В. Иванов-Разумник.

- Да ничего не делать, - сказал Иванов-Разумник. - Измайлов? клопиная шкурка.

Я понял, в Историю русской литературы Иванова-Разумника Измайлову не попасть; а "клопиная шкурка" - в Европе об этой шкурке не слышно - шкурка наша, изморенный столетний клоп - медленное жгучее точило, только когда нальется кровью, лови.

Уходя, Иванов-Разумник - или "клопиную шкурку" он понял не только как главу в истории русской литературы - стесняясь, он подал мне три рубля.

Эту зелененькую я буду помнить, вспомню и повторю при имени Иванов-Разумник: в 1920 году, арестованный по делу вооруженного восстания левых эсеров, участвовал в альманах "Скифы", следователь не сразу понял значение этих трех рублей - подлинно, жертвы отзывчивого сердца.

В поздний час - в Петербурге можно - с захлебнувшимся звонком и под стук кулаками навалилась орава - Котылев, Маныч с подручными, галдя. Вся наша комната битком.

Только Маныч грузно стоял истуканом. Котылев разбрасывал руки, дергая поводами за руки и за ноги окружавших его тесно.

- Мы пришли выразить вам сочувствие.

И тут один тоненький, как Ауслендер, и очень жалкий, подавая мне руку, неожиданно отчеканил:

- Моя фамилия Лев.

И тот, выше всех, испитой, в дьяконовском подряснике, из которого на моих глазах успел вырасти - пожарный репортер, через головы протянул мне руку. Тут были всякие под рост и в пору Марку Бернару: биржа, утопленники, мордобой, поножовщина,скандалы.

Все свои. Но были и с улицы увязавшиеся и любопытные: наш паспортист с откушенным носом выглядывал из-за спины откушенным носом.

- Мерзавцу, - возгласил Котылев под одобрение вращающегося круга, - в театре публично набьем морду.

Маныч молча фигурил себе руки.

- А от Аверченко, - сказал Котылев, - возьмите вашу рукопись - сказку "Берестяный клуб". Теперь все равно и в "бардак" вас не пустят.

И тот, что называется Лев:

- Моя фамилия Лев, - повторяя, тоненькими пальцами пожал мне руку.

В Революцию этот Лев сделается редактором "Огонька", замещая Владимира Александровича Бонди. "Огонек" журнал при "Биржевке" и будет печатать меня, пока Революция не прихлопнет и призрак Льва исчезнет.

И комната с грохотом опустела.

А ведь Котылев, вдруг сказалось, убежден,что я содрал сказку, и попался.

- Что у тебя за собрания? - Крик на весь дом. Я стучал и звоню. У тебя был Коноплянцев?

А. В. Коноплянцев, елецкий ученик Розанова,пишет книгу о Леонтьеве.

В. В. Розанов газет не читает.

Я ему рассказал о Измайлове.

- Баснописец?

- Да никакой не баснописец, сын смоленского дьякона, "тараканомор" главный в "Биржевке".

- А ты напиши опровержение.

- Пришвину отказали.

- Пришвин мальчишка, ты сам напиши.

А я подумал: "Одно слово Шахматова,и всем горло заткнул".

4

берестяный клуб

Жили на селе два старика,Семен да Михайла,разумные старики-приятели.

Косил старик Семен с работником сено,пришла пора обедать, присел работник отдохнуть, а Семен за бересту принялся - работящий старик, без дела не посидит, - бересту драл, клуб вил.

Идут полем люди.

- Бог помощь, работнички! Слышали, Михайлу-то нашего, старика, на дороге убили.

- Как так? - подскочил Семен, - убили? Экие разбойники, убили!

И уж не может старик бересту вить, бросил клуб в кошелку, пошел с поля домой.

Идет старик, не может сердца сдержать - Михайлу вспоминает.

- Разбойники, - твердит старик, - злодеи, за что убили? - твердит старик, так в нем все и ходит, - убить вас мало, злодеев!

А из кошелки-то у него, глядь, - кровь.

Работники сзади шли, и видят, кровь из кошелки бежит. Да уж за стариком, не отступают.

А Семен идет, не обернется, - не до того! - так и идет.

И пришел домой, швырнул кошелку в сенях, сам в избу.

Тут работники к кошелке, да как открыли, а в кошелке не береста, не клуб берестяный - голова человечья.

- Ну, - говорят, - это ты, крещеный! Ты и убил Михайлу! - Да за десятским.

Пришел десятский, пришли понятые, стали смотреть кошелку: так и есть, в кошелке голова человечья.

Приложили к кошелке печати, а старика Семена в тюрьму.

Немало сидел старик.

Каялся священнику:

- Осуждал! - А в убийстве не повинился - не грешен, не убил никого.

И на суде не повинился.

- Не грешен: не убил никого.

И рассказал, как узнал про Михайлу, как с поля шел и сердца не мог сдержать, проклинал злодеев.

Принесли кошелку, распечатали.

А там не голова, - лежит клуб берестяный.

И вышло старику решение: отдать старика под наказание - не убил он, а за то, что за убийство осудил убийцу, не пожалел.

5

ПЛАГИАТОР

Москва встретила меня карикатурой: жиром заплывшая морда, по носу узнаю себя, пауком среди книг, в руках ножницы, а подпись: "Писатель или списыватель?" Потянуло в город на Ильинку. Шел пешком из Таганки - домá меня встречают. И тумбы и фонари знакомые.

Был на Бирже. Биржевое собрание еще не кончилось. Старик-служитель, не глядя, остановил меня в дверях: во время собрания никого не велено пускать,

пятьдесят лет он служит и во сне не забыл бы исполнить приказ. Но, покосясь на меня - из какого-то упорства я не подумал отходить от дверей - он растерялся. Я видел,как лицо его вытянулось, а рука, напруживая синие жилы, потянулась к дверной ручке - распахнуть двери. И потом он расскажет, моргая красными глазами - в них было и умиление и восторг - как, взглянув на меня, ему представилось,что это "сам", - такое, значит, было необыкновенное сходство у меня с моим дядей, головой Московской Биржи и его хозяином, и все 50 лет службы за один миг промелькнули перед стариком, и он не посмел не отворить мне дверь.

"Пожалуйте!" - бормотал он, теребя ручку.

К его счастью, собрание окончилось. И я вошел в гудевший зал. А так как я был первый вошедший из посторонних, меня заметили и узнали, с добродушным восклицанием: один просто называя меня "Алексей", другие с шуточным прищелком "плагиатор!"

Тут были и старики, которые знали меня с детства, и мои сверстники - товарищи по коммерческому училищу.

Моя ссылка была встречена всеобщим порицанием. Мое имя на годы было как вычеркнуто. Родственники от меня отказались. Имя мое не произносилось,а если из молодых кто помянет, оборвут. Но мой "Пруд" с Москвой - поднятый газетной бранью, мое имя со скандальным и повязью "декадент" обратили внимание, и стали поговаривать. Одним нравилось, другим не нравилось, но у всякого оставалось: "толк выйдет". И прошлое мое обернулось, как сказали бы деды, "не грех, токмо падение", а кто-нибудь еще прибавлял, конечно, по-своему, что звучит по старине: "не согрешишь - не покаешься, не покаешься - не спасешься".

И теперь, когда в газетах - "Раннее Утро" и "Русское Слово", читает вся Биржа - меня объявили вором, которого нельзя терпеть среди литераторов, вызвало всеобщее негодование.

Старик Грибов сказал:

"Из семьи Найденовых и Ремизовых воры не выходят, ошибаетесь!"

И вот почему мое появление на Бирже встречено было с необыкновенным радушием. Всем хотелось выразить мне свое чувство и потрунить: "плагиатор", покрывая замоскворецкой руганью обнаглевших газетчиков.

Но как и почему все совершилось, что дало повод такому позорному обвинению! Это занимало каждого. Биржевое собрание не расходилось.

Я хотел обратиться по старине: "отцы и братья", но встретившись глазами с Грибовым, сказал, слыша себя, как постороннего, свое из глубокого молчания исшедшее слово.

"Александр Иваныч, верите ли вы мне?"

Грибов, нахмурясь, беззвучно шевелил седыми губами.

"Верим!" - прокричал Корзинкин - когда-то сидели в училище на одной скамейке. "Верим", - повторил он, ударяя на "ве" задорно и твердо.

"Я, - и я остановился передохнуть, очень меня взволновало, - я - не вор".

И в ответ мне - среди наступившего молчания,которое, мне показалось, длится бесконечно - я вдруг услышал и я вдруг увидел: старик Грибов с добрыми глазами на меня, твердо стукнул об пол палкой и пошел.

Биржевое собрание закрылось.

Шумно и как-то празднично, покидая Биржу, расходившиеся взбудоражили Ильинку. И сквозь дребезжание пролеток и шмыг резиновых шин на Спасской башне играли часы полдень.

* * *

Вечером, знакомой дорогой - иду по правой стороне с Земляного вала - сколько лет ходил на Старую Басманную в училище - мимо Рябова, мимо Курского вокзала, Погодинской церкви Никола Кобыльский и на Гороховскую в дом О. Г. Хишина к С. В. Лурье.

Семен Владимирович встретил меня весело: о моем объяснении на Бирже ему рассказали.

- Весь город знает. Случай из средневековой итальянской хроники. Вот вам наша московская гильдия. Своего не выдаст.

Но меня ждало "из другой оперы": ведь на Бирже разыграна была сцена оперная, ни в комедии, ни в водевиле такому нет примера.

От Д. А. Левина письмо.

Давид Абрамович пишет: необходимо мое объяснение в печати, иначе невозможно печататься в "Речи", и просит Семена Владимировича поместить в "Русских Ведомостях".

Редактор "Русских Ведомостей" или замещающий редактора С. Н. Игнатов, двоюродный брат М.М. Пришвина, от Пришвина я знаю о Игнатове. В семье Игнатова воспитывался сын Л. И. Шестова, что соединяло С. В. Лурье с Игнатовым.

Пришвин, сотрудник "Русских Ведомостей", автор "В стране непуганых птиц" и только что вышедшей книги "За волшебным колобком", у брата был только неудавшийся журналист, постоянные недоразумения, а как старался Пришвин писать под Игнатова, да не выходит. Никакого разъяснения обо мне Игнатов от Пришвина не принял бы. Другое дело от С. В. Лурье. В деловых кругах имя Лурье стояло высоко,как впоследствии и в литературных, занимая место соредактора П. Б. Струве в "Русской Мысли".

А для меня была задача, казалось, не одолею. Написать по-газетному и что? Оправдываться, но в чем?

Я написал о сказке и пути русской сказки - о сказе и о моем праве сказочника сказывать сказку с голоса русского сказителя.

Семен Владимирович был убежден, что передовая русская интеллигенция - "общественность" - вынесет свой достойный приговор, не уступая вровень купцам Московской Биржи, или, как у меня сказалось,"покроет".

Л. И. Шестов и С. В. Лурье старше меня, когда-нибудь придет их черед, узнают на себе - Шестов при жизни, а С. В. по смерти, что такое эта передовая общественность - по Розанову, "гиксосы" ("Из книги, которая никогда не будет написана"), а по мне - "тараканоморы" ("Подстриженными глазами").

Мое письмо в редакцию "Русских Ведомостей" напечатали, ничего не вычеркнуто, но под моей подписью курсив - от редакции: не отрицая моего права пересказывать народные сказки, редакция предостерегает меня быть осмотрительным, и во избежание справедливых нареканий критики впредь указывать источник моих заимствований.

6

Крестовые сестры

С надранными ушами и с номером "Русских Ведомостей" я вернулся в Петербург.

И когда мы остались вдвоем с Серафимой Павловной, я говорю: что же? а сам думаю, вспомнив слова Котылева: "и в бардак не пустят!" - как нам быть? Я присмирел, непохоже это на меня, а вот поддался. И все хочу и не могу сказать себе, в чем моя вина, да скажу и теперь не понимаю,в чем я был виноват. Она ничего не сказала и только куда-то отвела глаза, и вдруг огнем залило все ее лицо и глаза ее, как огонь - такой сверкнул пожирающий гнев. И я до земли ей поклонился. Я всегда чувствовал какую-то пра-вину свою за всю боль, которая по судьбе пришла со мной и через меня, и вот сейчас - ей было больно за меня - за мою боль. И поднявшись и став опять лицом к лицу, я вдруг нашел слова и для себя и для нее - успокоить ее: я ведь только на одну минуту, на кратчайший миг, как пропал.

В ту же ночь я начал "Крестовые сестры", в них много чего про себя.

Перехорохорился и не заметил,как затаился. Пишу. Моя исповедь, как когда-то "Убийца", мой первый рассказ, а потом в Вологде "Пруд".

Летнее время, кому зайти, разве заблудный. И я никуда. С. П. в Берестовце у Наташи.

Так прошло лето - первая редакция "Крестовых сестер". А будет пять. Последнюю прочел Иванов-Разумник. Иванов-Разумник передаст в "Шиповник" для альманаха. Литературных мнений в "Шиповнике" нет - Копельман, Гржебин, Вейс. Разве что Иванов-Разумник, а то и читать не стоило бы, непонятно, да и автор - имя спорное.

Чтение неторопливое,надо наперед рассказ Серафимовича и повесть Юшкевича. Вейс очень занят. А последнее слово - повезут к Леониду Н. Андрееву на Черную речку - не скоро мне ждать ответа.

По редакциям я не ходил. Чуковский предупреждал: не соваться, пока не СГЛАДИТСЯ. Не беспокоил я Д. А. Левина - без меня и Рождество прошло. Я затеял через Андрея Белого предложить Метнеру в Мусагет книгу рассказов.

На большом листе аршинными косыми буквами неистовый ответ Андрея Белого: Метнер отказал. Тут вот Котылев и вынудил Стракуна подписать контракт на издание моей книги - Рассказы, Прогресс 1910 г.

Иванов-Разумник по своим делам часто наведывался в "Шиповник". Хорошо быть критиком, которого печатают. Иванова-Разумника из почтения величали "профессор" - это не то что "подожди" или "не велено пускать" мое. "Крестовые сестры" Гржебин прочитал, Копельман прочитал, читает Вейс.

Что то будет?

Получил письмо от С. К. Маковского, редактор "Аполлона": предлагает прочесть "Неуемный бубен" в редакции.

Исторический вечер: весь синедрион - Вяч.И.Иванов, Фадей Францевич Зелинский, Иннокентий Федорович Анненский. И ближайшие: Макс Волошин,Н.С. Гумилев, М. А. Кузмин, Ф. К. Сологуб,А. А. Блок, секретарь Зноско-Боровский, Ауслендер, Ю. Н. Верхов-

ский, А. А. Кондратьев и приезжий из Москвы Андрей Белый.

Председательствует С. К. Маковский.

Вошел я робко, играю "не обращайте внимание" - как это странно: или никто ничего не читает. С. К. Маковский знал, я уверен, но из деликатности...

- Что-то о вас Измайлов написал? - тяжело спросил Блок.

Не помню, что я ответил, я превратился в Ивана Семеновича Стратилатова, мучителя Агапевны,и в мученицу Агапевну и во всю костромскую археологию.

Повесть писалась по рассказам Ив. А. Рязановского.

По окончании заметно было оживление, но куда мне разобрать, и только председатель улыбкой показал, что все понимает: И. Ф. Анненский говорил по-латыни, Ф. Фр. Зелинский на языке Софокла, а Вяч. И. Иванов, думаю, на ассирийском Гильгамеша.

Необыкновенное впечатление на Андрея Белого. На него накатило - чертя в воздухе сложную геометрическую конструкцию, образ Ивана Семеновича Стратилатова, костромского археолога, рассекая гипотенузой, он вдруг остановился - необыкновенное блаженство разлилось по его лицу: преображенный Стратилатов реял в синих лучах его единственных глаз.

- Да ведь это археологический фалл. - Кротко, но беспрекословно голос Блока. Блок выразился по-гречески.

Андрей Белый, ровно б пойманный, заметался, он готов был выскочить из себя - и только улыбка Блока - "Иван Семенович Стратилатов воплощение археологического фалла", а он не заметил! и это правда! - привело его в сознание.

В Берлине в 1922-м лекция Андрея Белого "О любви". Антропософская аудитория, исключительно дамы. Слушают, затаив дыхание. Не в воздухе, а на доске мелом воздвигается сложная геометрическая конструкция. Закрутив центральную спираль, Андрей Белый

обернулся к аудитории: синь плывет из его глаз,лицо сияет, образ любви за его спиной.

И вдруг, подобно гласу из облака,неожиданно голос из публики:

- А где же фалл? - Кусиков выразился по-русски.

И тут произошло однажды случившееся в Петербурге на вечере в "Аполлоне": закрученная на доске спираль, выщелкнувшись, ударила в спину и принялась опруживать шею, руки, и остались одни перепуганные глаза - в "Аполлоне" - в Блока,в Берлине - в Кусикова. А в ушах неуемным бубном по-гречески и по-русски.

"Неуемный бубен", одобренный синедрионом,"Аполлон" не принял: С. К. Маковский, возвращая рукопись, мне объяснил на петербургском обезьяньем диалекте: по размерам не подходит, у них нету места, печатается большая повесть Ауслендера.

Если бы все знал Сергей Константинович, ведь я ему обязан изданием "Пруда", как я верил,и на этот раз он меня выручит,меня нигде не печатают,а "Аполлон" меня реабилитирует, и мне откроется дорога в Котыпевский "бардак", а может быть,куда и почище.

Тут вот Котыпев мордобоем принудил Н. А. Бенштейна (Архипова), редактора "Нового Журнала для Всех" послать мне аванс 50 рублей.

Пятьдесят рублей - деньги,на какой-то срок ломбардные квитанции не со страхом ворошатся и глаза не ищут, чего бы еще снести к Пяти Углам.

А между тем Вейс кончил чтение "Крестовых Сестер" - он читает с точки зрения "покупательной способности" - "откровенно скажу, ничего не понял". В субботу Копельман и Гржебин, начиненный Ивановым-Разумником, повезут рукопись в Териоки к Л.Н. Андрееву. Теперь все от слова Л. Н. - и пусть С. А. Венгеров считает Иванова-Разумника за нашего Белинского, для Л. Н. Андреева Иванов-Разумник не авторитет, задирчивый - что, он семинарист? - нет, кончил математический факультет и хороший пианист. Так.Воображаю,какая будет встреча - когда Г.И. Чулков собрался включить меня в свой сборник "Мисти-

ческий анархизм", Л. Андреев с раздражением заметил: "Не могу читать Ремизова, не раздражаясь".

Что то будет?

Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс в нашей петербургской судьбе не случайна: в решительные, всегда пропадные, когда было на ниточке или в срыв, писались письма англичанину Гарольду Васильевичу Вильямсу. Не знаю, какими словами Ариадна Владимировна убедила П. Б. Струве принять мой рассказ в "Русскую Мысль". П. Б. Струве отмахивался категорически: "ничего не понимаю". А и правда, моя "Бедовая доля" не без загадок. "Объясните,вы понимаете: "клей-синдетикон" - вымазался и катается по полу. Я понимаю "слоны в сапогах", ну а "лягушки в перчатках", перчатки носятся на руке, ну, а какие же руки у лягушек, а это - "макароны в плевательнице" ест Максимилиан Волошин?"

"Бедовая доля" появится в "Русской Мысли" - П. Б. Струве меня реабилитировал,как потом Лифарь - после восемнадцатилетнего мордоворота - с 1931 по 1949 - изданием "Пляшущего демона".

По-русски меня не издавали, один дурак заметил "что ж тут такого, ждут и пятьдесят лет": с "Пляшущего демона" мое имя снова появляется на книжном рынке - чувствую себя новичком.

Б. К. Зайцев - "Подстриженными глазами": мои книги не самоокупаемы, думал ли я попасть в ИМКУ, да и самое название книги "стричь можно волосы и еще ногти", говорит умный человек, "а глаза можно выколоть,зажмурить,а никак не стричь". Истину глаголите, потому вы и умные! Как когда-то А. В. Тыркова убедила П. Б. Струве, так Б. К. Зайцев убедил совет ИМКИ. Жаловаться, что нет расхода книги,нет. "Очереди не замечается, - говорит Полевой Воевода Обезьяньей Великой и Вольной Палаты Б. М. Крутиков, - но поход на книгу есть."

И это вопреки Тараканомору, из моих "Подстриженных глаз": распалясь ревностью к вере, пишет донос, традиция Булгарина, а другой Тараканомор,критический прием Бурнакина, взял мою лексику под ми-

кроскоп, но не имея ученого навыка славистов, помяну Р. О. Якобсона и Б. Г. Унбегауна, сел в лужу "остей", но для широкого читателя - "ловко же он его отбрил" и вывел на чистую воду до подноготной!

Иванов-Разумник сказал: "Л. Н. в мрачном равнодушии, "Крестовые сестры" сданы в печать. Обещают в Рождественский альманах".

Сейчас осень, недолго ждать. Пойдет корректура - Серафиме Павловне работа, будем в четыре глаза. Ошибок не будет, но и без ошибок со всеми недвусмысленными переносами имен, с точками и запятыми - всей этой ненужной пестряди, необходимой для тупоголовых - но разве это то, что я чувствовал и думал - "мысль изреченная есть ложь", какой вздор!

Нет несказуемых мыслей, только на сказ надо дар.

В 1910 в альманахе "Шиповник" № 13 появились "Крестовые сестры".

По случаю выхода альманаха вечер в "Шиповнике". Меня пригласили. Народу набито. Актер Ходотов читает новую пьесу Леонида Андреева "Океан". Я в другой комнате. Чтенье томительно, Ходотов хочет передать Океан в тихую погоду - акт - ни автор, ни Ходотов не жили на океане.

Ходотов читал час.

Я высвободился из тисков поздороваться с Леонидом Николаевичем. Надо было пробраться. Заметил ли он меня, впрочем, едва ли он помнит: приходил к нему прямо из Охранного отделения, Москва, ноябрь 1902 года, скорее его подтолкнули - с ним стоял К. И. Чуковский - около него, вижу.

Леонид Андреев подал мне руку.

- Читал, - задумчиво выговорилось и скорбью налился взгляд. - Что-то у вас там... Мне послышалось "магия".

И тут из толкучки те, кто меня не замечал или отворачивался, вдруг узнали меня и здоровались. Повторялось единственное в памяти из "Крестовых сестер", но в тоне биржевого "плагиатор" беззаботно:

- Человек человеку бревно.

7

МАГИЯ

"Крестовые сестры" переведены на немецкий, французский, итальянский и японский, только нет по-английски - не нашлось русского, что бы сказал, а сами англичане слишком богаты - до чужой литературы нелюбопытны.

Теперь я не прячусь за Чуковского, справиться в "Ниве" о злополучной "Корявке": в "Ниву" я не пошел, а в "Сатирикон".

Аверченко встретил меня приветливо. "Берестяный клуб" отдан в набор. Я подумал, "стало быть разъяснилось", и невольно провел себе рукой по лбу - гладко: клеймо "вор" не выпирает буграми свинцовых букв. Как всегда, в редакции народ, торопятся, но никто не бежит: знакомые здороваются, незнакомые с любопытством: "человек человеку бревно". У окна на Невский художник Реми - Николай Владимирович Ремизов (Васильев) - негритянское обличье, а перед ним в черном длинный черный судорожно отмечает в записной книжке.

- В ближайшем номере обязательно! - громко сказал Аверченко, прощаясь со мной.

Черный человек обернулся, и смертельная улыбка оскалила его.

- Кто этот мертвец, кладбищенская пугала? - спросил я африканского, тогда еще не африканского доктора, пробивавшегося к Аверченко.

- Знаменитый художник Реми.

- Да нет, вот тот, черный, смотрит в окно.

- Александр Алексеевич Измайлов, - почтительно выбубнил африканский, - пишет в "Биржевке" под псевдонимом Смоленский и Аякс.

С легкой руки Иванова-Разумника о "Крестовых сестрах" пишут и в Харькове, и "Южный край" (Екатеринослав), и в Ростове-на-Дону - какое дубье, а что-то поняли.

Давид Лазаревич Вейс ошибся."Шиповник" объявил собрание моих сочинений в 8-ми томах - у меня ненапечатанного большой запас. Анна Семеновна Голубкина представила меня деревянным лесовиком - по моей "Посолони" - в Третьяковской галерее пугаю любопытных обозревателей русского искусства. Мы покинули Бурков дом - М.Казачий переулок - нашего ближайшего соседа по Б. Казачьему В. В. Розанова. Наша новая квартира на Таврической в новом доме архитектора Хренова, восьмой этаж, памятный Ф. А. Степуну: застрял в лифте, пожарные за ноги вытащили, оборвав потерпевшему всю нижнюю сбрую. У нас есть телефон, помню № 209-69, топят жарко - центральное отопление - стены просушиваются, сосед З. И. Гржебин и лето и зиму несменяемо в майском.

В эту нашу первую человеческую - магия "Крестовых сестер" - Таврическую квартиру, отмеченную Ф. А. Степуном в "Воспоминаниях", забредет "по пророчеству", "ведомый рукой Всевышнего", Н. А. Клюев с показным играя крестом на груди - "претворенная скотина", Клюев, преувеличенно окая по-олонецки, "величал" меня Николай Константинович. Я догадался: "Рерих" и сразу понял и оценил его большую мужицкую сметку, игру в небесные пути. Раздирая по-птичьему рот, он божественно вздыхал. Повторяет: "Так вы не Рерих?" В эту квартиру за Клюевым придет в нескладном "спиджаке" ковылевый С. Есенин и будет ласково читать о "серебряных лапоточках",как потом имажинистом непристойности.

На звонок: "Слушаю, кто говорит?" выхолощенный без напоя голос: "Измайлов". Уговорились о свидании. И Измайлов на Таврической, в доме Хреснова.

Трудно сказать, кто из нас больше стеснялся: я до потери памяти, где что находится, а гость - до страха молчания.

Не прерываясь говорит Измайлов, его голос вытрескивал семинарской ладью заученных акафистов и канонов: ему посчастливилось, на Сенной он нашел картину, размером в стену, ничего не разобрать, а промыл - показался запечатленный берег моря,худож-

ник Дыдышко смытые места реставрирует; и еще - он достал аппарат, регистрирует голос, диск ставит в граммофон, очень хорошо слышно. Он хотел бы показать мне картину - запечатленное море - и зарегистрирует мой голос. Он перебрался со Смоленского кладбища на Офицерскую, он надеется, буду у него.

- Все знаменитости зарегистрированы, не хватает вас. - И как у Аверченко в "Сатириконе", смертельная улыбка оскалила его.

И во мне говорилось: "со Смоленского кладбища".

Конечно, я приду на Офицерскую посмотреть промытое море и прочту для граммофона свой сон - меня везут на кладбище в Александро-Невскую Лавру.

Торопясь, он продолжал говорить.

О ту пору два модных имени: Клюев и Есенин - на каком-то собрании он их видел, хотел бы поближе познакомиться.

Чего проще, подумал я, они бродят по "мережковским" закрепить свое литературное имя, но какая ж корысть - Мережковский, Блок, Иванов-Разумник. Ведь появление Клюева в Петербурге - я заключаю из его божественных патриотических признаний - по Распутинской дороге он хочет пробраться во дворец к царю и Сережу протащит с собой, "рыльце симпатичное", Клюеву надо - "Биржевка".

- Конечно, - поспешил сказать я, - приведу к вам и Клюева и Есенина зарегистрировать голос.

Он принес мне,- без передышки продолжает гость, - три сборника своих рассказов. Он положил передо мной - три книжки пузатые, но аккуратные. Я раскрыл первую, мне любопытно, о чем - так и есть, "Черный ворон", а в этой "осени поздней цветы запоздалые". И я вдруг увидел на Смоленском кладбище могилу.

- Я теперь не на Смоленском, - почему-то повторил он свой офицерский адрес.

Он считает себя учеником Лескова. И мне почуялось, под словом "ученик" выговорилось "и продолжатель". Он единственный из критиков обратил внимание на Лескова. Собирает матерьялы для биографии.

И разговор перешел к Лескову - судьба Лескова.

- Мне часто вспоминается судьба Лескова: клевета, которою заклеймили его на всю жизнь. И я понимаю, когда он говорит за себя - за себя все можно принять, но за другого - не прощается: я - не прощу.

"Меня только всю мою жизнь ругают и уж давно доказали и мою отсталость и неспособность, и даже мою литературную... бесчестность... Да, так, так: нечего конфузиться - именно бесчестность."

И мне от его слов вдруг стало больно за него. Не намекнув, все знали: Аякс - Измайлов,Измайлов - мой черный гость, униженно-елейно - семинарская муштровка - прощался. И черный след его тонких скелетных ног пропал за дверью.

В одном из следующих альманахов "Шиповника" появилась моя повесть "Пятая язва". Человек среди человекообразных. Наша провинциальная глушь, не Кострома "Неуемного бубна", а уездный город Костромской губернии Галич - матерьял рассказа И. А. Рязановского. После "Крестовых сестер" эта повесть ничего не прибавила к моему имени. Были казенные отклики, но мне памятен не литературный,хотя в русской литературной традиции - доносы не перевелись и до сего дня - ругань "Земщины", глас "Союза Русского Народа".

После "Пятой язвы", возвращаясь к Петербургу, начал повесть "Плачужная канава" - лесковская тема "Обойденные". Но не в обойденности, я хотел довести "Крестовые сестры" до скрежета,и говорю: "человек человеку бревно, человек человеку подлец, человек человеку Дух Утешитель". Начало читал Блоку. Окончил повесть в революцию 1918 г. Одну из редакций - мельчайшая рукопись - купил у меня для своего книжного собрания редкостей библиофил А.Е. Бурцев. Ни в России, ни за границей мне не посчастливилось найти издателя.

Пока С. В. Лурье был в "Русской Мысли" соредактором П. Б. Струве, я мог печатать мои рассказы,не докучая А.В.Тырковой поговорить за меня с П.Б.Стру-

ве,как когда-то Д. А. Левину - вот я где стал Петру Бернгардовичу!

Кроме "Русской Мысли", ни в какие толстые журналы меня не пускали, ни в "Русское Богатство", ни в "Мир Божий" ("Современный Мир"), ни в "Вестник Европы".

Для передовой русской интеллигенции - для общественности - я был писатель, но имя мое - или на нем тина "Пруда", или веселые огни "Бесовского действа".

Во время дела Бейлиса появилось в газетах воззвание от Союза Писателей "Кровавый Навет". Среди подписей нет ни меня, ни Чуковского: вычеркнули.

Иванов-Разумник пришел к нам прямо с заседания, вздыбленный: пенсне падало, и он ловил его, подплясывая пальцами.

Семен Афанасьевич говорит: Ремизов и Чуковский - имена несерьезные, и это может повредить, я предложил вычеркнуть.

Иванов-Разумник против вычеркивания Чуковского ничего не имеет, но что и меня вычеркнули - он подал протест.

И только в революцию произошло неожиданно для меня: мое имя вдруг поднялось вровень с именами Иванова-Разумника и самого Семена Афанасьевича. И я поверил. В Союзе Писателей меня выбрали в суд чести быть в товарищах с Анатолием Федоровичем Кони и Виктором Сергеевичем Миролюбовым.

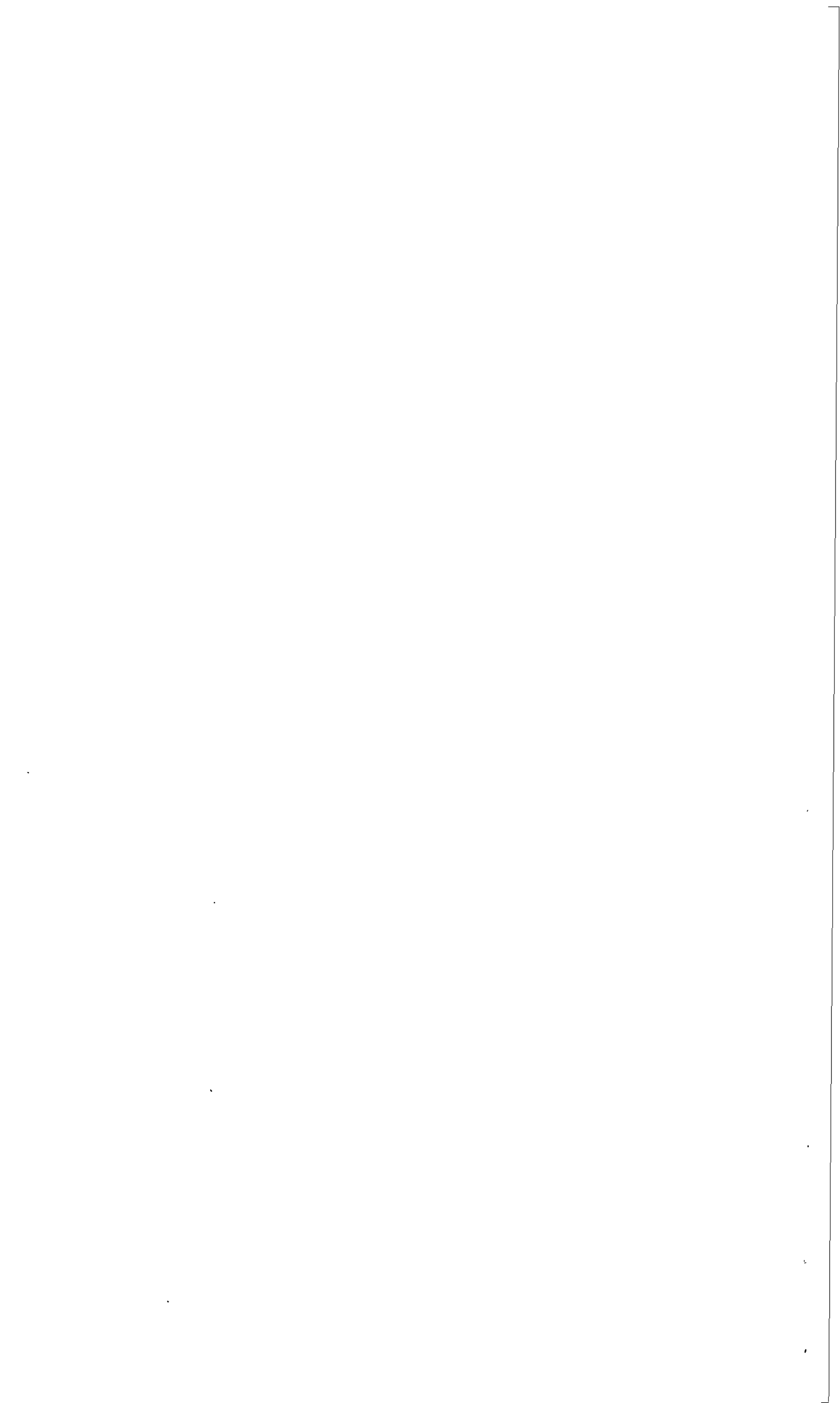
Единственное судное дело - с непривычки я не знал, куда глаза девать, ведь всю жизнь не я,а меня судили - дело Гумилева и Голлербаха - допрос Гумилева тягчайшее.

Говорил один Кони, ему привычно, В. С. Миролюбов только басом подергивался, а я молчком. И вдруг я понял - А. Ф. Кони,что говорить! В.С.Миролюбов - слава безукоризненной чести, а я? - я был близок к верхам, недаром же Вологодская ссылка с Луначарским, это все знали, и вот я свой в Союзе Писателей и занимаю какое место! Меня выбрали в суд чести, как добродушно говорил Амалий Сергеевич Роде,

хозяин ресторана "Вилла Роде", чтобы сделать удовольствие О. Д. Каменевой (ТЕО) и Саре Наумовне Равич (Петросовет и Наркоминдел).

Александр Николаевич Тихонов, редактор Горьковской "Летописи" (1916-1918), человек с набалдашником, прямо сказал мне: "К нам в редакцию присылалось немало таких рукописей, я как увижу "Ремизов" - не читая в корзину". И смотрел на меня так решительно, мне казалось, вот шваркнет меня за ворот и к рукописям, похожим на мои, шваркнет в корзину.

Это был грозный "голос России", напутствие мне в чужие края (5-го августа 1921 года).



Моя литературная карьера

Форма моей повести "неоконченный рассказ". Пример у Гоголя "Иван Федорович Шпонька и его тетушка". Тема "моя литературная карьера" - какая же может быть другая форма? В судьбе каждого писателя есть своя таинственная статуэтка, и только в истории литературы обнаружится,стоило ли ее беречь в Эрмитаже или это такой вздор, годный лишь на выброс. Потому я и оканчиваю мой "неоконченный рассказ" кануном.

1906
Петербург

1

на одиннадцатой версте

Варвара Дмитриевна Розанова читала мой "Пруд" пять раз, "и ничего не понимаю", - она говорила со скорбью; она искренно хотела помочь мне. Василий Васильевич Розанов о "Пруде" слышал из разговоров - всюду говорили, и все против; из моих сверстников, как и я, начинавших, Иванов-Разумник - в Петербурге, а Андрей Белый - в Москве, по-разному, но оба возмущались; за меня наперечет: Лев Шестов, Дягилев, Философов, Сомов, Бакст, Блок и С. В. Лурье. Да, забыл помянуть старших - моих отцов крестных: Горького и Леонида Андреева - пройдут годы, пока гнев не сменится на милость. И не было газеты, где б меня не выругали, и письма. Думаю, - прошло немало годов - вот чем объясняется моя литературная нечувствительность.

В. В. Розанов не менее Варвары Дмитриевны сокрушался, глядя на наш пропад. А всякий раз, как станет он надевать калоши идти в "Новое Время", Варвара Дмитриевна повторяла: "Вася, не забудь, попроси Виктора Петровича".

Буренин отмалчивался. Но однажды - должно быть, очень надоело - он сказал, что о сумасшедших писать не хочет. Тут Розанов помянул Серафиму Павловну, и о Наташе, и археологию: Буренин сдался. И сдержал слово. В одном разносном буренинском фельетоне я прочитаю о себе и о "Пруде" - несколько строчек, но вразумительных: Буренин выражал свое искреннейшее удивление, что автор "Пруда" еще не на "Одиннадцатой версте", в чем он был уверен, а живет в Петербурге. ("На одиннадцатой версте" - так в Петербур-

ге говорилось о больнице св. Николая для душевнобольных, на станции Удельная, Финляндской ж. д.)

Я был под негласным запрещением, меня никуда не принимали, в "толстых" благородных журналах имя мое было пугалом. К. И. Чуковский пытался в "Вестнике Европы" - редактор Е. А. Ляцкий - там только руками замахали и приняли за шутку: Чуковский предлагал мой рассказ "Слоненок" (Собрание сочинений, т. 1. Изд. "Шиповник" - Сирин, СПб. 1910-1912).

В 1906 году кончились "Вопросы Жизни", конец моей службы: я заведовал хозяйственной частью; и мы остались без ничего. Меня посылали в разные учреждения. Д. В. Философов - в Государственный Контроль. Управляющий Государственным Контролем Ратьков-Рожнов, жена его - сестра Философова, чего, кажется, проще, а ничего не вышло, только смех - передавался мой разговор с начальником канцелярии и как я папиросу закурил. А. В. Тыркова - к Парамонову, на Сенную. Парамонов вроде здешнего фарфорщика Попова, а прием в конторе с семи утра; собирался меня куда-то в Персию послать, я обрадовался и заговорил о персидских газелях и сказках, ну, ничего не вышло. Посылали меня к Руманову на Морскую - А. В. Руманов, заведующий петербургским отделением "Русского Слова" принимал с восьми утра в постели. Напуганный неудачами, я сидел на кончике стула, тиская мои рукописи. Руманов говорил по телефону. Перед Румановым в те годы заискивали и лебезили, таких посетителей, как я, бывали сотни, не было возможности подумать, и только письмо В.В. Розанова, но я был ни к чему для "Русского Слова", и все эти рукописи мои зря. И не "сумасшедший", а просто ненужный.

Была перепись собак и автомобилей. Как раз по мне: ни с кем не разговаривать, записывай, и все. Я и взялся. После одного происшествия, как я перешел железнодорожный мост, с собаками у меня ладу не было. (Этот памятный случай описан в моей книге "По карнизам"). Дело с переписью простое, но каждый раз я выходил к собакам не без трепета.

Серафима Павловна через В. В. Розанова устроилась в гимназии Минцлова: начальница - жена Сергея Рудольфовича. С. П. было не очень легко,я заметил, не преподавание, а эта Минцлиха баба - все как следует, а мерка на людей самая пошлая (при Тредиаковском это слово переводилось как "средняя", "ограниченная"), стало быть, жди "замечания" и,конечно, все по программе и учебнику. А вечером мы сверяли Белинского: текст издания Павленкова со статьями в "Отечественных Записках" для нового изд. у Стасюлевича. Эту работу дал нам Иванов-Разумник. Спасибо. И все-таки на жизнь не хватало. Да, еще составлял я каталог детских книг - пожалуй, самое для меня тяжелое, тягостнее собак, вспомнить жутко, ведь что бы я ни взял, вижу: "и почему детям?" Все мне было не по душе: сам я в детстве не читал "детских" книг, меня отпугнули они своей деланностью и фальшью, у меня сказалось тогда - "почему меня считают за дурака?" Такое же отвращение у меня с детства к проповедям, нравоучениям, к "истине".

Я был изгоем, но не сдавался и продолжал писать. На большое не было времени, и только сказки. Читал всякие этнографические сборники, "Живую Старину", и что находил по душе, то и пересказывал. А. И. Котылев, король или, по-русски сказать, первый "махала" петербургских репортеров, помещал мои сказки во всяких мелких иллюстрированных журнальчиках, в приложениях к театральным афишам или, как сам он выражался, носил "в бардак". Само собой, он брал себе из гонорара какую-то долю,и все-таки это был единственный человек, который, не мирясь с моими собаками и детским каталогом, делал для меня самое важное: поддерживал мое литературное ремесло. Я и тогда замечал, а теперь скажу прямо: моему литераторству не доверяли.

2

СТАТУЭТКА

День выдался особенный,только в Петербурге такое бывает. После вчерашнего дождя, тумана, когда не видишь перед носом и по улицам идут наугад безликие тени, сегодня с моря подул ветер,и вдруг все переменилось. Солнце. И Невский - единственный - выполощенный, вычищен, блестит.

Я шел по каким-то бедовым делам, наслаждаясь, вбирая в себя этот блеск, Невский под солнцем после дождя! - ковровые бесшумные торцы от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры - пространство куда от Триумфальной Арки до Конкорд.

Легким шариком катился мне навстречу,я издалека узнаю: Сомов. Он спешит на "сеанс", не помню, чей это портрет он рисовал: Вячеслава Иванова или Блока?

Мы стояли под солнцем, блестя, как Елисеевские гастрономические стены, бутылки, фрукты и розовая ветчина.

"Непременно в пятницу жду. - Прощаясь, Сомов сделал сердечком губы и мягко, но внятно, у него баритон: - Буду показывать "статуэтку", - сказал он, - большой секрет, один Валечка знает,я ему сказал, а для других это будет сюрприз".

Статуэтка была сделана по воле Императрицы Екатерины "для назидания обмельчавшему потомству". Статуэтка хранилась в Эрмитаже. Для публичного обозрения недоступна. Об этой исторической редкости стало известно от А. И. Сомова,директора Эрмитажа. К. А. Сомов упросил отца взять на дом, — хоть на один вечер, посмотреть. А. И. Сомов долго не решался: будут руками трогать, не повредили ли б - и вот наконец согласился: статуэтка "торжественно" (так выговаривалось у А. И. Сомова) перенесена была из Эрмитажа на Екатерингофский проспект.

Андрей Иваныч,"водрузив" драгоценный "ларец" - размер скрипичного футляра - на самом видном месте "под святые", все беспокоился: а ну как "схватятся"?

А кому хвататься, если вещь находится в полной неизвестности: никто никогда не видал и ничего не знает, как о легендарном обезьяньем царе Асыке.

Андрея Ивановича Сомова мы знали только по портрету, я говорю о новых петербургских знакомых Сомова 1905 года. Константин Андреевич не в отца,а в мать: Андрей Иваныч высокий, жилистый,а Константин Андреевич - заводной шарик - Философов, Дягилев и Бенуа, Александр Николаевич, кажутся перед ним великанами; к нему больше подходит "Валечка" - Вальтер Федорович Нувель. Все это товарищи Сомова по гимназии Мая (Васильевский Остров, 14-я линия) и по университету (Дягилев по университету). Все с именами, и только Нувель, его имя очень тесного круга "Мир Искусства" и "Современная Музыка",он написал несколько трогательных романсов на слова М. А. Кузмина в стиле XVIII века, но не печатает: чиновник особых поручений при Министре Двора несменяемом Фредериксе. Нувель, еще скажу, как и его товарищ Альфред Павлович Нурок, сын автора популярнейшего учебника и сам учитель английского языка,с лицом Малларме - Нувель похож на грушу - оба были душой всяких музыкальных и художественных собраний.

В глазах у меня все еще были эти сердечком сложенные губы Константина Андреевича со "статуэткой", он произнес "статуэтка" с каким-то умилением,бережно, стесняясь и любуясь - по рассказам Андрея Иваныча, "статуэтка" была искусно сделана: Императрица любовалась.

Жмурясь - блестит! - я нацелился перейти на ту сторону. Для меня всегда это было трудно, и вдруг Котылев.

Остановились: я всегда рад такой встрече,не надо писать письмо - с Котылевым у меня единственные ли-

тературные дела, и вот эти не-собачьи дела остановились.

Котылев разодетый, только что не в цилиндре, после вчерашней и позавчерашней попойки, но это не серое, а как можно представить себе серое, окутанное наливным светом - в глазах его сияло удовольствие: удача!

Он от министра: интервью - и все сошло не только хорошо, а великолепно: корм и для "Петербургской Газеты", и для "Листка", хватит на "Биржевку". Между прочим, у министра он встретил Валечку.

"А вы все по собачкам?"

Перепись собак давно кончилась, тысячу раз я говорил об этом, но почему-то всем понравилось, и редко кто не считал своим долгом справиться автоматически, вроде "как поживаете?"

А не так-то просто оказалось и с моими сказками. Трудно пишу, жаловались в редакции, "непонятно для нашего читателя".

"А я говорю, - хорохорился Котылев, - непонятно? Да ведь это же по-русски, морду набить, какого еще черта!"

В моих мыслях путалась статуэтка, и вместо вопроса: как мне быть с моими рукописями, я спросил о Потемкине, не о Григории Александровиче (1736-1791), а о студенте Петре Петровиче.

Потемкин-дылда в непомерно длинном студенческом сюртуке примечательное на всех литературных вечерах молодых (я тогда числился в "молодых"). А стал известен за свой стих, подхватываемый и оголтело и не без добродушия: "папироска моя не курится, я не знаю,с кем буду амуриться..." И как участник у "кошкодавов": скандальное дело, возникшее в Петербурге в 1906 году по обвинению в истязании котов. Впрочем, глава кошкодавов Александр Иваныч Котылев объяснял очень просто: "забавлялись с фокстерьерами на бездомных кошек". Котылев покровительствовал Потемкину и даже приютил у себя. Котылев один, это потом появится кроткая безропотная Марья с застывшим навсегда недоумением в ее русских с по-

волокой глазах. У Котылева были странные житейские повадки; летом по случаю теплой погоды дома он ходил не иначе как нагишом и только для редких посетителей, я в числе их, он делал исключение: наголо обряжался в сюртук - я ведь буду впоследствии крестным его дочери; кума - Марья Карловна Куприна-Иорданская, первая жена Александра Ивановича Куприна. (Куприн покровительствовал Котылеву,но и Котылев старался: добрая доля славы Куприна создана Котылевым). А сам Котылев получил известность и в самых высоких кругах литературы за свое "родство". Е. А. Ляцкий женился на престарелой дочери А.Н. Пыпина или, как говорилось, на пыпинском архиве,а Котылев на внучке Петра Лавровича Лаврова; под повестями и рассказами, ее печатали везде, она подписывалась С. Миртов. В ее внешности ничего не было "писательского", всегда нарядная "модница", она была похожа скорей на офицерскую жену, с хохолком и бархоткой, таких встречал Достоевский, а говорливость непрерывная и ни на какой гонорар не поддающаяся. После развода два сына жили с нею, но и с отцом не прерывали связи: Котылев "каторжный", беззастенчивый, но именно как "каторжный" с порывом доброго и горячего сердца.

"Петрушу надо пристроить, - сказал он, - его не знают эти ваши, я уже говорил Вальтеру Федоровичу".

А я подумал: "Котылев выведет Петрушу в люди, станут его знать и "наши" - эти литературные круги с Дягилевым и Философовым здесь и с Брюсовым в Москве - им противополагалось (вот словечко, впору Бердяеву!) серое "Знание" Горького, зеленые растрепанные книжки, образец словесного и печатного безвкусия, Куприн, Арцыбашев.

На прощание Котылев, подмигнув, сказал:

- Вы, конечно, в пятницу будете у Сомова на "статуэтке"?

Я совсем спутался: ведь только что Сомов предупредил меня о секрете, а какой же секрет,когда и Котылев знает? И понял, откуда - конечно, это Ну-

вель, единственный, кому открыл Сомов, не удержался и с усмешкой похвастался, еще бы - "историческая статуэтка". Я так и видел Нуveля: нос по ветру. Недоставало только его самого встретить.

Когда я подымался к себе на третий этаж, лестница темная и узкая - "Бурков дом" ("Крестовые сестры") - я столкнулся с Розановым, оба мы близорукие.

Розанов осердился.

"Я третий раз к тебе захожу, куда ты шляешься - с собаками?"

Я сказал, что без собак, но по собачьему делу. А С. П. в гимназии.

"Я пришел предупредить, - сказал Розанов, - мне некогда разговаривать с тобой, и пожалуйста, не задерживай и оставь свои безобразия, ты непременно должен быть у Сомова в пятницу, будут статуэтку показывать".

И в его прозношении "статуэтка" осветила всю нашу темную лестницу, это было не Котылевское с усмешкой и пренебрежением, а подлинное преклонение и чинопочитание: "ваше обер-высоко-превосходительство".

Розанов, не входя, перед дверью рассказал мне, что дома он проболтался и "Варечка" (Варвара Дмитриевна) слышать ничего не хочет. но если узнает, что мы оба поедем, успокоится. Варвара Дмитриевна непременно зайдет, но чтобы ей не говорить, что он был у нас - он дома сказал, что Суворин его вызвал по важному делу.

"В третий раз захожу, - повторил Розанов, - ну прощай, волк и паук, до пятницы."

На его губах висела "статуэтка", а "пятница" прозвучала возвышенно и растроганно, как "великая пятница", он даже поцеловал меня.

Не успел я оглядеться, как раздался неистовый звонок. Я думал, что случилось, и С. П. из гимназии. И отлегло. Отдышиваясь, ввалился Рославлев. И вгруз:

"Встречаю на Невском Котылева, - сказал он ластящимся не по объему голосу, - у Сомова в пятницу будут показывать "Эрмитажную редкость". Хочу попросить вас, вы там свой, Сомов меня не знает. Котылев сказал, зрелище общедоступное, но как проникнуть. Это на Екатерингофском, 97?"

Я объяснил Рославлеву, что "общедоступное" надо понимать как не требующее никакого всматривания, слепому в глаза бьет, а на "сеансе" будут только те, кого Сомов.

"До пятницы Сомова я не увижу, приходите безо всяких."

Я думал, Рославлев, получив свое, сейчас же уйдет, а он сел крепко.

"Занимайтесь своим делом, - сказал он, - я только газету просмотрю", - и развернув "Новое Время", уткнулся.

Никаким делом заниматься я не могу. Я очень забеспокоился: всякую минуту могла вернуться из гимназии С. П., а она не любит, когда кто-нибудь торчит с газетой, будь то Рославлев или Котылев, мои благодетели.

3

МОЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Котылев - отчаянная голова, возьмется за что, ни перед чем не остановится, доведет до конца. В одну из моих "катастроф", желая помочь мне, долго не думая, он отправился в редакцию "Нового Журнала для Всех", к знакомому редактору и издателю Николаю Архиповичу Бенштейну (Архипову), - в свое время Котылев помог ему у Виктора Сергеевича Миролюбова откупить "Журнал для Всех" - и потребовал у Бенштейна послать мне немедленно аванс, 50 рублей. Основания никакого не было, и Бенштейн заупрямился, тогда Котылев, не вступая в пререкания, ударил его

"по морде". В тот же вечер я получил от Бенштейна 50 рублей и с письмом, пишет, что "всегда готов,но просит в следующий раз без посредников". Бенштейн был в зависимости от Котылева: реклама - и,несмотря на обиду, скоро состоялась между ними мировая; посредником был Маныч, товарищ Котылева, тоже репортер и тоже не простой, а по мрачности другого в Петербурге не найти, силища кузнечная,полиция боялась, а новодеревенские громилы обходили. Маныч потребовал от Бенштейна 25 рублей вознаграждения "уладить дело", потом был ужин в "Вене" на три персоны: Бенштейн, Котылев и Маныч. Не дешево обошлось Бенштейну "сопротивление". А Котылев говорил: "мошенников надо учить". А еще - в другую мою катастрофу: все издательства отказались меня издавать - "как? не хотят - посмотрим!" И Котылев повел меня в новое издательство "Прогресс" или, как смеялись, "Скороходъ" за неимоверное количество и быстроту выпускаемых книг, по преимуществу технических. Хозяин - М. Г. Стракун, молодой, инженерного вида. И я был свидетелем разговора, результатом которого контракт на издание моей книги "Рассказы", изд. "Прогресс", СПб, 1910 г.

Мои книги 1908 г. "Часы" ("The Clock". Alfred A. Knopf, New York, 1924) и "Чертов Лог" с "Полуношным солнцем", изд. "EOS", СПб,появились на свет тоже чудесным образом через "разговор", но какая разница! Александр Степанович Рославлев, известный за свою нецензурную эпиграмму на памятник Александру III работы Трубецкого перед Николаевским вокзалом, а также стихами под Ершова и повторяющимися "клики, пушки и трезвон" и любопытной повестью "Записки полицейского пристава", человек немалых размеров, в поддевке и с лицом Варлаама ("Как во городе было, во Казани") затеял обработать Саксаганского - в литературе никакого,торгует ломаным железом в Екатеринославе. Но зато Анна Семеновна Саксаганская, дама спокойная,и уж дети скоро из Екатеринослава по университетам из железного гнезда разлетятся, а между тем автор двадцати пяти драма-

тических пьес - изданы порознь БЕЗ КОРРЕКТУРЫ (и смех, и грех, и безобразие!). И зетеяла она, ища славы, погрузиться в "литературную пучину" - так и появились Саксаганские в Петербурге. Из писателей единственный знакомый Бр. Ал. Лазаревский, "преемник Чехова", как любил сам зваться,да и ни для кого не была тайной его подражательность Чехову. Лазаревский познакомил со своим другом и собутыльником Рославлевым. С этого все и начинается. - Чтобы прославиться, надо окружение. Надо создать издательство с блестящими именами - так решил Рославлев. Так появилось на свет издательство "EOS". Имена:

Дм. Цензор. Старое гетто.

Владимир Ленский. Утренние звоны.

Анатолий Каменский. Солнце.

Борис Лазаревский. Рассказы. Том третий,обложка Е. Лансере.

...и сам Александр Степанович. Сказка о трех царских дивах и о Ивашке, поповском сыне.

Да еще: Ола Гансон. Женщины. (На этих "Женщин", книгу целомудренную, почему-то больше всего рассчитывали: на обложке красовалась откровенная русалка, а оскандалились мои "Часы", их конфисковали за порнографию и кощунство, потом, разобрав, сняли арест, но все равно, скандал или реклама - все бросились покупать.) И вот к этим блестящим именам Рославлев решил присоединить и меня. По душе добрый и совестливый: однажды мне удалось,я попал в какой-то "кошкодавный" альманах ("порядочные" долго меня не печатали),и мой гонорар, 60 рублей (шестьдесят рублей),Рославлев взялся передать мне из рук в руки, зимой было, он зашел в какой-то недешевый кабак обогреться, а хватился,время позднее, и прикатил к нам на лихаче: я ему дал расписку, он обшарил все свои карманы - ни копейки. И не это ли толкнуло его вспомнить обо мне и возвеличить мое имя. У Саксаганского я сидел ни жив ни мертв, у нас не было ни копейки, на Загородном комнату снимали, не выйдет дело - беда, а Рославлев,

развалясь, величал меня: будто мои книги, как книги Цензора и Вл. Ленского, напустят такого огня и света в EOS, имя Саксаганского будет известно на всю Россию, - до "двенадцатого колена", почему-то по-библейски выражался Рославлев, и имя Анны Семеновны будет повторяться во всех уголках, где только подымется занавес и обнаружатся кулисы, в миллионах экземпляров будут изданы ее пьесы, - и он перечислил все 25:

1) Безумная. Драма в 2 д. и 3 карт.
2) Вне закона. Драма в 3 д. и 4 карт.
3) Генеральная репетиция. Водевиль в 1 д.
4) Герой. Шутка в 1 д.
5) Двести тысяч. Водевиль в 1 д.
6) Именины в деревне. Шутка в 1 д.
7) Именины Наташи. Водевиль в 1 д.
8) Картинка жизни. Драматический этюд в 1 д.
9) Коллекция. Фарс в 2 д.
10) На новую дорогу. Пьеса в 4 д.
11) Недуг времени. Драматический этюд в 1 д.
12) Не понял. Драматический этюд в 1 д.
13) Одурачили. Водевиль в 1 д.
14) От Божьего ока не укроешься. Народная драма в 5 д.
15) Поздняя правда. Драматический этюд в 1 д.
16) Роковая буква. Шутка в 1 д.

На "Роковой букве" Рославлев вышел в соседнюю комнату: там Лазаревский, ожидая Анну Семеновну,работал над ее портретом; на столе около ящика с красками стоял графин с водкой и тут же на тарелочках закуска. Рославлев приложился, дернув "по-сибирски", как говорит Пантелеймонов,не водочный,а винный стакан, и закусив, вернулся продолжать:

17) Самой красивой женщине. Шутка в 1 д.
18) Степной цветочек. Драматический этюд в 1 д.
19) Сумерки. Драматический этюд в 1 д.
20) Сети. Фарс в 2 д.
21) Тайга шумит. Драма в 1 д.
22) То было раннею весной. Шутка в 1 д.
23) Феминистка, или Долой мущин! Шутка в 1 д.

24) Чем не жених. Водевиль в 1 д.

25) Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться. Водевиль в 1 д.

"Лошадиный зад", - сказал Рославлев и с таким умилением, словно дело шло не о Трубецковом памятнике, а о собственном, и метко сплюнув на Саксаганского застрявшую в зубах недотрогу - селедочную мелкую косточку, которую без вреда мог бы и проглотить, еще больше разулыбался, - "всякий зад падет во прах, мнится", - он переходил на стихотворение, - "окруженный Цензором, Вл. Ленским, Алексеем Ремизовым, как из-под земли подымается перед глазами пьедестал (ясно, он хотел сказать: монумент): Сакса-ганский Санкт-Петербург."

Вот это я понимаю: и проймет и никому не обидно: подписывай контракт и получай деньги. А Котылев, и поздороваться не успев, с первых же слов: "свинья". И настаивая принять мою книгу "Рассказы", изд. Прогресс, тыкал свиньей в Стракуна. Видно было, что Стракуна "свинья" коробит, он, сдерживаясь, менялся в лице, и когда мы остались одни, Котылеву валандаться некогда, подпись схватил и прощай. Стракун сказал: "какое обращение!" - но не договорил: "хамское", остановился; за это "хамское" было б, он это знал, "набить морду", и это пустяки, а вот в газетах ввернуть подозрительное словечко о его изданиях... Котылева тронуть - обожжешься.

Я был уверен, что Петруша, как, я не знаю, а очень скоро будет знаменитым, раз взялся за него Котылев. Скажу наперед: мое предположение оправдалось - через какой-нибудь месяц после этой памятной мне встречи я узнал, что Бакст затевает написать группу поэтов и на первом месте, за Вяч. Ивановым, Блоком и Кузминым, значился Петруша Потемкин, а уж за Потемкиным Гумилев.

Правда, затея Бакста не осуществилась. В группу включили меня, потом вычеркнули, тогда Блок отказался участвовать, - а какая же группа поэтов без Блока? - так и расстроилось. Но это неважно, раз-

говор, где поминалось имя Потемкина, долго еще занимал "среды" Вяч. Иванова. И еще: в ту пору в Москве возникнет "Золотое Руно": конкурс - я получу первую премию за рассказ "Чертик" ("Дом Дивилиных у реки. Старый, серый, лупленный. Всякая собака знает"), первую премию за стихи М. А. Кузмин,а вторую - Потемкин. Мне и Кузмину по 100 рублей, а Потемкину - 50. Но дело не в деньгах, слава! Но это когда-то будет, это я про себя - эти 100 рублей "Чертиковы", а пока, я уже понял, как со мной трудно, даже со сказками, если и Котылевское всемогущество и его "приемы" и обращение с редакторами и издателями не действуют.

4

ПОТЕРЯННЫЙ БРИЛЛИАНТ

На другой день мне было назначено к Руманову, Морская 35. Аркадий Веньяминович Руманов представлял в Петербурге "Русское Слово". Это не Котылев с "Петербургской Газетой", шантажом и скандалом, полет выше и глаз острее,и без всяких безобразий мог человека прославить и вывести на дорогу. Перед Румановым заискивали и лебезили. Котылев раздувал Куприна, а без Руманова Рериху не подняться б так высоко и с такой быстротой: о Рерихе трубили в "Русском Слове". И еще связи: Котылева куда повыше допускали, а перед Румановым сами лестницы под ноги катились и сами собой распахивались двери.

День Руманова начинается спозаранку, не по-парамоновски, но не вровень и петербургским часам. В 8 утра я уже был на Морской.

Когда проснулся Руманов, я не скажу, но он еще лежал в кровати и говорил по телефону. Перед его дверью я услышал его голос: он называл то "граф", то Сергей Юльевич. Я понял, вспомнив стихи в "Жупеле" у Арцыбашева: "Граф Игнатьев сан-стефанский,

Витте - граф американский", и терпеливо ждал окончания.

Разговор подходил к концу. Собеседник,видимо в хорошем расположении,"официально" не хотел оканчивать и спросил: "Что нового в городе?"

"Да ничего нет, да, в пятницу..." - И Руманов, точно кофею глотнув, с необычайной бодростью и темпераментом, как выкрикнул: "статуэтку!" "Статуэтку", - повторил Руманов, - барышня, не перебивайте, - и для камуфляжу: Столыпин - Ухтомский - Игнатьев - понимаете,"статуэтку" будут показывать..."

"Чья?"

"Не перебивайте... "статуэтку!"

И тут я понял, что секрет Сомова уж не секрет, о "статуэтке" знает весь Петербург.

Комната Руманова, где "вершились государственные дела", показалась очень тесной моим "подстриженным" глазам, так что и сесть негде. И очень белой: от газет или от стола - стол,как в больницах, столики. А сам Руманов, еще не одетый,белый - весь в белом - "розовый". Принял он меня очень ласково. У меня было письмо от Розанова. С закрытыми глазами я передал Руманову. Розанов писал: "Его, Ремизова, только никто не понял, это потерянный бриллиант, и всякий будет счастлив, кто его поднимет".

Когда Рославлев "провозглашал" перед Саксаганским о трех великих писателях: Дмитрий Цензор (ударяя на "Цензор"), Владимир Ленский (из "Евгения Онегина", кто этого не знает?) и Алексей Ремизов - мне было неловко, но я понимал, что это игра и по-другому нет возможности убедить Саксаганского принять мою книгу. Но Розановское было от сердца и бескорыстно. Правда, я чувствовал себя "потерянным", это мое с детства, но никогда не представлял себя блестящим. Я все больше убеждался, что душа у меня "мелкая" и разве можно сравнить с Серафимой Павловной? А воображение - без взлета Кодрянской,и то, что называется "трепет" - только лихорадочный, а не горячечный.

Я был с Блоком и Андреем Белым, но с первых же встреч я почувствовал мою бедность. В революцию Иванов-Разумник скажет обо мне, сравнивая с Блоком и Андреем Белым - "бескрылый".

С письмом Розанова я передал Руманову и мои рукописи для "Русского Слова". Руманов пообещал все сделать. И вообще Руманов никогда не отказывал.

Но ничего не вышло: и мои рассказы и мои сказки не подходили к *русскому* "Русскому Слову",это во-первых, а еще (а может, это как раз и есть во-первых) Руманов не разглядел Розановского потерянного бриллианта и не "поднял". Я это почувствовал.

* * *

Жили мы тогда очень трудно. Особенно,как перебрались с Кавалергардской на Загородный в комнату. Особенно в праздник, когда к хозяевам приходили гости: как в темнице сидели, Серафима Павловна тогда все плакала: Наташи с нами не было. Тут вот нас и освободил Рославлев, оболванив Саксаганского. И в М. Казачий переехали. И как раз о ту пору и Розановы переехали со Шпалерной в Казачий же. Ну, Котылев мне со сказками помогал - я и теперь не знаю, что его толкнуло ко мне, что ему от меня? Когда он старался для Куприна, тут было из-за чего, не он, так другой постарался б, но я - только одна неприятность и постоянные скандалы. Умные люди ему говорили: "Да брось ты с Ремизовым возиться, времени проводка, а карману шиш". И правда,много ль рублей он на мне заработал? - да на извозчика не хватит по редакциям ездить! И все-таки Кот-и-Лев, а впоследствии кавалер обезьяньего знака с повислым слоновым хоботом 1-й степени,он точно чего-то радовался, встречаясь со мной. В конце сентября 1917 года оба мы одновременно захворали: крупозное воспаление - я поднялся, а он не выдержал. Мне говорили о нем: "каторжная совесть" - не знаю, какая такая "каторжная"? Так и осталось загадкой: почему человека "каторжного" повлекло ко мне и до смерти, отчаянный и вероломный, он был мне верен и

никогда не "расстроил" меня,не огорчил душу. А когда его ругали, мне было больно.

А Рославлев - скажу и о нем, чем все кончилось, - Рославлев в своей разбойничьей поддевке, обставив Саксаганского, отстранился от Саксаганских издательских дел "EOS", или, вернее,Саксаганский не дурак, рано или поздно сообразил, что ни Дм. Цензор, ни Владимир Ленский, ни я, и, само собой, ни Лазаревский с Рославлевым, никакие мы Львы Толстые и Достоевские и от нас никакого озарения "драматическим этюдам" Анны Семеновны, будь,например, Горький, Леонид Андреев, Куприн, Арцыбашев,ну хоть какой-то отблеск... в один прекрасный день, расплатившись с типографией, снялся со своей петербургской квартиры и отбыл с Анной Семеновной и ее драмами восвояси, в Екатеринослав, "разрабатывать ломаное железо".

Потом уже, без Саксаганского я встречал Рославлева на литературных вечерах и собраниях. Я всегда ему был благодарен, как он нас выручил тогда, освободив от Загородной тюрьмы. Иногда он заходил к нам и читал все те же "клики, пушки и трезвон": ему казалось, что это Ершовское стихотворение в "русском" стиле и мне приятно. Помню, в "холерный" год - "не пейте сырой воды", у нас всегда стоял на столе большой кувшин отварной воды, стаканов десять; помню, как Рославлев попросил напиться, его мучила селедочная жажда, и на моих глазах, стакан за стаканом,опорожнил кувшин, все десять, и только выпустил воздух, как рыба пускает ртом. Вот он какой был человек многоутробный, он и на еду был такой же, а в революцию, в 1920 году голод его скрутил, а тиф прикончил. "Спасибо вам, Александр Степаныч!" - так мысленно я с ним простился. Само собой, Рославлев был кавалер обезьяньего знака 1-й степени с пушкой и колоколами обезьяньей великой и вольной палаты - Обезвелволпал.

5
МИЛОСЕРДНЫЕ

Вернувшись от Руманова, помню, с каким восторгом я рассказывал о нем Серафиме Павловне, ведь я был так уверен, что все будет: мое напечатают в "Русском Слове", и деньги. Есть в житейской жизни такие маленькие вещи, вроде зубной щетки, конечно, скажут безулыбные безрадостные люди,"и пальцем можно"! - эти маленькие вещи необходимы, но как без денег? Я верил, я получу деньги, и не только зубную щетку, я пойду к Фаберже и куплю жемчужное ожерелие. (Один раз я уже совался, да очень дорого, чересчур!) Я всегда искренно верил, но никогда не огорчался, когда не выходило, это мое исконное "быть готову ко всему".

До "статуэтки" какое мне дело? Меня занимало "безобразие", а оно в таких случаях непременно. Люди вообще очень доверчивы и пугливы, а это как раз на руку "безобразию". Ну что, если нагрянет полиция, или в самый разгар "сеанса" просто сказать: обыск. "Политически" тут, конечно, ничего,но скандал, конечно, ведь надо это Эрмитажное сокровище объяснить как-то.

Вот в чем я всегда винюсь: когда разыгрывалось мое воображение о всяких "безобразиях", я совсем забывал, что я не один, а стало быть, в конце концов - все-таки как ни одурачен бывает человек, а глаза продерет и разберется - и тень от меня непременно упадет на Серафиму Павловну. Правда, я это скоро понял - ожегся - и уж под всякими предлогами перестал выходить на люди, хоть воображение-то мое нисколько не пропало. На душе моей много грехов.

Вечером зашла к нам Варвара Дмитриевна Розанова, как я предполагал. И прежде всего она спросила, поедем ли мы в пятницу к Сомову?

Я сказал: "Да, собираемся".

"А что такое Сомов показывать будет, Вася рассказывал?" - Варвара Дмитриевна очень подозрительно посмотрела.

"Ничего особенного, - сказал я, - свой неоконченный портрет, и не всем будет показывать, стесняется".

И говоря "неоконченный", я против Розанова нисколько не погрешил. Свою мысль о незаконченности Розанов запишет в "Опавших листьях" (Короб 1-й,стр. 74).

"А Минских радений не будет?" - уж с каким-то затаенным страхом спросила Варвара Дмитриевна.

"Да Минский давно уехал, он в Париже. Будут Бенуа, Добужинские, конечно Сергей Павлович Дягилев, Философов, Лансере".

"Так вы едете?" - еще раз спросила Варвара Дмитриевна.

И успокоилась.

И начала о своем: советы по хозяйству. И это были не пустые слова, а от желания. У нее действительно болело сердце за нас, а как хотела б она, чтоб меня где-нибудь напечатали и у нас были деньги.

Розанов запишет в "Опавших листьях",Короб 1-й, стр. 254:

"Нужно, чтоб о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь".

В Париже Эсфирь Соломоновна Познер, как когда-то Варвара Дмитриевна, будет советовать и наставлять по хозяйству, печалясь и желая удач и денег.

Поминаю и этих двух милосердных женщин, столько тепла и участья было от них в нашей бедовой судьбе.

В хозяйственный разговор: где что купить,и что у нас есть, и чего надо достать и где,в эти кухонные подробности я поминутно встревался. А это не нравилось Варваре Дмитриевне. Наконец она не выдержала, так это было против всей ее природы.

"Василий Васильевич у меня этим не занимается!" - И с укором посмотрела на Серафиму Павловну.

Оба мы этот укор увидели, и Серафима Павловна улыбнулась, а у меня на лице заиграло что-то неподходящее.

"Ваше дело писать, - сказала Варвара Дмитриевна, - мы вам не мешаем, садитесь и пишите".

Варвара Дмитриевна была убеждена, что "писать" и, скажем,"шить" разницы никакой,только что и различие: там перо, а тут игла.

Потом тихонько Серафиме Павловне:

"Очень меня огорчает. Что случилось: последние дни Вася сердится на Алексея Михайловича. "Ноги моей, говорит, у них больше не будет".

Я сразу как-то - про какую ногу? - и чуть было не сказал, что все это вздор и сердиться ему не на что, что если он сердится, то не на меня, а на А. М. Коноплянцева: не возвращает Леонтьева. Но встретившись глазами с Серафимой Павловной, я сейчас все сообразил.

"Это все пройдет, - сказала Серафима Павловна, - пересердится". И опять улыбнулась своей единственной улыбкой, которой нельзя не поверить.

"Так в пятницу в десять к Сомову - и вместе поедем".

Но только что Варвара Дмитриевна вышла,звонок. Василий Васильевич. И как это они не столкнулись?

"Ну, что?"

"И вместе поедем", - сказал я.

"Ну, слава Богу!"

Розанов, входя, весь был как сплюснут, словно через щель лез, а теперь расправился и на человека похож - на русского писателя традиции Погодина. Я теперь это понял, какое сильное влияние оказал на него Погодин: не рассказами - Погодин застрельщик натуральной школы, конец 30-х годов - не пустой лирикой, вроде наставления ученику, а "Афоризмами", манерой в критике со всякими "халатными" (слова Шевырева) авторскими подробностями; ведь самая мысль о форме "Опавшие листья" Погодинская, так сам Погодин в дневнике записал о происхождении первого тома своих исторических исследова-

ний - "груда листков и обрывышков". Погодин и славянофилы, вот откуда Розанов: "Уединенное" - из Киреевского "Уединенного мышления". Кроме того,Розанов был внимательнейший и верный читатель Н.Н. Барсукова, жизнь и труды Погодина. В своей рецензии в "Русском Вестнике", 1895 г.,он так определяет труд Барсукова: "культурная хроника русского общества и литературы XIX века", действительно, есть о чем узнать и было подумать. А самая завязь Розанова - "розановское", таким он родился.

"Только, пожалуйста, оставь хоть на этот вечер свои безобразия; ведь ты для безобразия можешь ляпнуть Варечке, что я вот к вам сегодня уж в четвертый раз. Ну, прощай. Завтра еще загляну. Да, увидишь Коноплянцева, напомни".

6

канун

Между тем "статуэтка", сначала робко шепотком, осмелевая, уже нагло входила к знакомым и незнакомым, распоряжаясь по-свойски. Она являлась под разными именами, сохраняя свою божественную неистовую природу.

В кругах высшего духовенства, а она проникла и в Святейший Синод, ее называли по-латыни. И по-монашески. В Вольно-экономическом Обществе решили обратиться к В. В. Водовозову,встречавшемуся в редакции "Вопросов Жизни" со всякими декадентами,его спрашивали, но В. В. Водовозов, глухой и далекий от неэкономических вопросов, долго не мог понять: ему кричали сначала деликатно, потом перешли всеми словами на статуэтку. В Географическом Обществе старейший председатель Вл. И. Ламанский называл ее "доисторическим" термином. Добралась плутовка до Академии Наук, и там обратились к Ал. Ал. Шахматову и склоняли ее, разлагая до монгольских корней.

А потом стали уверять - источник с Главного Телефона (подслушанный камуфляж Руманова), что все это "Столыпин, Ухтомский и Игнатьев",и троичность "статуэтки", расщепляясь, являлась в том образе, какой кому нравился. К четвергу, когда оставалось не так много часов до пятницы, "статуэтку" забыли, и по Невскому разгуливали Столыпин, Ухтомский и Игнатьев. Сам Андрей Иванович Сомов, а до него в Эрмитаж доходили самые грозные вести, на минуту усомнился: "Чья?" Между прочим уверяли, что Столыпина видели собственными глазами, вышел от Фредерикса и направился к Трепову - "патронов не жалеть". И в этом была какая-то правда: разносчиком "статуэтки" по Петербургу был Валечка - В. Ф. Нувель: в четверг он не ходил уж, а шнырял, все его видели. В. В. Розанова на этот раз действительно вызвал в неурочный час к себе А. С. Суворин. Розанов, само собой, опроверг Столыпина, Ухтомского, Игнатьева, но забыл "чья". Розанов распространялся о "неоконченности" и "многоточиях".

Интерес был самый зажигательный, как к открытию мощей или к покушению. Из Москвы приехал И. Д. Сытин и прямо к Руманову: конечно,не без задней мысли дознаться о петербургской блуждающей "статуэтке".

* * *

В поздний час в четверг состоялось перенесение "драгоценного таинственного ларца" в заднюю комнату К. А. Сомова, куда посетители не допускались. Нес, бережно держа в обеих руках, Андрей Иванович. Из предосторожности электричество в коридоре погасили, а Константин Андреевич шел впереди со свечой.

Андрей Иванович очень беспокоился: он боялся за целость "сокровища", как он почтительно величал Эрмитажную редкость. Главное, чтоб руками не хватали и не гладили: от всякого малейшего прикосновения могла слинять. Еще раз проверив, Андрей Ива-

нович ушел к себе. И настала ночь, ночь для Андрея Ивановича.

Ночью - в Петербурге вечер начинался с 10-11 - к Сомову, "горя нетерпением посмотреть", забегал В. Ф. Нувель; под каким-то предлогом зашел А.П. Нурок. Какое искушение для Сомова показать!

Сколько еще осталось часов, ведь еще целый день. Сегодня пятница. Если бы знали о моей "Калечине-Малечине", весь Петербург скакал бы на одной ножке:

Калечина-Малечина,
Сколько часов до вечера?

А пока статуэтка разъезжает по Петербургу с прощальными визитами, все принимают ее с "распростертыми объятьями", она вся насыщена - и вот, посмотрите, с каким удовольствием она ест осетрину; ей, конечно, съела и дальше: ведь надо поспеть к Столыпину, Ухтомскому, Игнатьеву, ей некогда, а нам не знай как убить время. И мне приходит в голову, коротая время, занять каким-нибудь другим рассказом и совсем из другого.

7

1919 - 1941

Зиму 1919 года мы вытерпели на нашей хорошей квартире в доме Семенова-Тян-Шанского на Васильевском Острове. Больше терпеть стало не под силу. Во "Взвихренной Руси" в рассказе "Труддезертир" полная картина нашего "жития". В мае 1920 года мы переехали на Троицкую в "Первый Отель Петросовета" (это устроила С. Н. Равич, знакомы с Вологды). С Троицкой мне было совсем близко на Литейный в дом Юсупова - ПТО. Я состоял при М. Ф. Андреевой и дважды в неделю ходил на "призрачные заседания театральной коллегии". Близко мне было и в Дом Литераторов на Бассейной, а то изволь переть с 14-й ли-

нии! И Серафиме Павловне в Аничков Дворец - она учила моряков 2-го Гвардейского "берегового" Экипажа.

Во главе "Дома Литераторов" стоял Н. М. Волковысский и Харитон, а в совете Д. В. Философов,Петрищев. Секретарем был Ирецкий из "Речи".

Больше сулили, чем выдавали: "ненормированные" продукты. Была столовая, где все-таки можно было чего-то съесть, конечно, со "своим хлебом". Бывал Ан. Фед. Кони, Вас. И. Немирович-Данченко,А.Л. Волынский.

Мне особенно памятна одна встреча.

Я вспомнил о ней особенно живо в Париже в дни оккупации в 1940 году: Б. К. Зайцев просил за меня; заведующий вспомоществованием писателям отказал: по его убеждению, я как сотрудник "Последних Новостей" не имел права не только на помощь,но и вообще соваться через кого-нибудь с прошением о "вспомоществовании".

И я вспомнил, как однажды в "Дом Литераторов" пришел В. П. Буренин. Он робко переступил порог. Он ничего не сказал; за него сказали: "Буренин"!

Вышел Философов и был очень взволнован,ел что-то и бросил. Философов не дал Буренину слова сказать - я представляю, какие в таких случаях бывают слова (ведь все под мыслью: "прогонят!"). Нет, Философов его взял под руку и усадил к столу.

И все мы, кто был тогда в столовой,все мы - вытянулись. И душу как вымыло. И свет сгустился. Так - и по-другому не могло быть - тьмой выело глаза, и оледенело бы сердце. Буренин что-то говорил Философову. Но той робости уже не было. А было: говорит человек.

Как редко взблескивает свет в нашу человеческую тьму; мое счастье: я видел этот свет. Вернувшись домой, я весь был полон этим светом. И когда сказал Серафиме Павловне, что в "Доме Литераторов" побывал Буренин, я заметил, какая тревога затенила ее лицо.

"Накормили, - сказал я, - Философов... и Волынский".

И все лицо ее осветилось.

Вы представляете себе: Философов и Буренин - что может быть обиднее статей Буренина о Философове, и Философов не уступал - дважды с угрозой врывался к нему. Не помню подробностей, но кажется,до мордобоя дело не дошло. И то слава Богу.

И вот встреча.

О мордобое я забыл, а про это "нельзя забыть".

8

сеанс

Обыкновенно принято опаздывать.

Скажут: в девять, а придешь в десять. Бывали случаи, являлись и в полчаса десятого - но таких наперечет: или какой "заблаговременный" или Лев Шестов.

К Сомову собрались вовремя. Все было очень чинно и "благопристойно", ни о какой статуэтке не было речи, говорили о выставке.

Хозяйкой была сестра К. А. Сомова: она разливала чай. На столе было чего только можно из сластей и пирожных.

А. Н. Бенуа и Анна Карловна, Добужинские, Е. Е. Лансере, С. П. Яремич, А. Н. Шервашидзе,Кузмин и Бакст. Ни Рославлева,ни Котылева. В.Д.Розанова сидела,как на тычке: она чувствовала что-то - где-то, как-то ее непременно обманут. Вас. В. Розанов не мог усидеть на месте. Ему не терпелось. Со стаканом он переходил с места на место: "Когда же куклу будут показывать?" - ловил он К. А. Сомова. По Розанову и можно было догадаться,что предстоит что-то необыкновенное. Наконец явился С. П. Дягилев.

Под каким-то предлогом стали выходить в другую комнату, и за самоваром остались одни дамы. Не по-

мню, кто-то был им пожертвован для развлечения,кажется, М. В. Добужинский и А. П. Нурок.

А там - тесно - а над ларцом хозяйничали: сам хозяин и В. Ф. Нувель. Розанов, ничего не видя и не слыша, весь - в ларец. Розанов пропихнулся,ближе и не вообразишь.

И когда раскрыли ларец и обнаружилось розовое, как миндальные цветки, "трудно вынимающееся" и потянуло чем-то сладким, вощаным, Розанов полез руками. И тут случилось то, чего так боялся Андрей Иванович: пальцы ли Розанова, дыхание ли любопытных, а скувырнули-таки "родинку". И когда дошла до меня очередь "приложиться", как я ни вглядывался, никакой родинки не заметил.

На коленях ползали около стола перед ларцом,не от усердия, в поисках этой таинственной родинки. И что-то было найдено, и крапинкой присажено.

В те годы я изучал апокрифы и у меня было целое собрание сказаний "о происхождении табака". Особенно одно поразило меня - "слово святогорца" - табак выводился от такого вот потемкинского.

"А что если написать мне такую отреченную повесть, а Сомову иллюстрировать по наглядной натуре".

"Вот было б дело, - сказал Вас. Вас. Розанов, - напиши!"

К. А. Сомов согласен, он, как образец, возьмет потемкинское.

И тут уж для безобразия, вспомнив о Котылеве,я сказал:

"Вот вы восхищаетесь этим, - я показал на ларец, который надо было закрыть и завернуть в дорогую шелковую пелену: "воздух", как "частицу" мощей, - но ведь это мертвое, "бездыханное",а я знаю живое и совсем не неприкосновенное и в ту же меру..."

- Кто? Где?

- Да Потемкин.

- У какого Потемкина?

- Студент Потемкин,пишет стихи: "папироска моя не курится..."

И уж за столом, никто ничего не заметил, как будто ничего и не было, только Вас. Вас. Розанов с застывшим недоумением загадочно пальцами раскладывал на скатерти какую-то меру, бормоча,считал вершки, продолжая чай и разговор о выставке, как бы мимоходом расспрашивал и о студенте Потемкине.

В. Ф. Нувелю я указал прямой путь познакомиться с Потемкиным:

"Обратитесь к А. И. Котылеву, он живет у Котылева, долговязый".

* * *

И должен сказать,слова мои о живом Потемкине - "у всех на глазах ходит по Петербургу" - были отравой. Помню, Розанов - первый: "Покажи мне Потемкина!" А Нувель, никого не спрашивая, прямо обратился к Котылеву. У Котылева познакомился с Потемкиным, залучил к Сомову познакомиться. Все очень просто вышло и занимательно.

"Петрушу, так рассказывал Кузмин, он присутствовал на этом веселом свидании, пичкали пирожками и играли с его живым потемкинским - три часа".

С этого вечера Потемкин пошел в ход.

Я встретил Потемкина на Невском и сразу заметил перемену: подпудрен,и несло тем сладким запахом, как из Потемкинского ларца. Теперь я понял, что духи, ими душился М. А. Кузмин, роза - "розовое масло".

Тут Потемкин мне рассказал о затее Бакста: нарисовать группу молодых петербургских поэтов.

- Кто же попадет в эту группу?

- Блок, Гумилев, Кузмин, Городецкий и я. - Потемкин широко улыбнулся: видно было, как ему это приятно - "и я".

А от Котылева я узнал, что "Петруша пошел в ход", его стихи будут изданы, обложку обещал нарисовать Сомов и всем он нравится,а В. Ф. Нувель во-

зится с ним, как нянька, да и Петрушу узнать нельзя, стал аккуратный.

"И вот, - Котылев показал на сверток, - купил ему зубного порошку".

Розанов все еще продолжал мимоходом:

"Покажи мне Потемкина?"

А чего было показывать, когда Потемкин был у всех на виду и не дылда-студент, а "поэт". На каком-то литературном вечере я показал на Пяста:

- Вот он ваш Потемкин!

Розанов было оживился, но поздоровавшись с "Потемкиным"-Пястом, отошел недовольный.

- Ты меня все обманываешь: какой же это Потемкин: руки мокрые!

(Пяст бывал у Розанова всякое воскресенье, и каждый раз Розанов с ним знакомился: "Розинов". Пясту это было очень неприятно, - но что поделаешь, если человек не хочет замечать,и ведь не нарочно!)

А недолго продолжалось увлечение Петрушей, так его теперь все звали: игра надоела, и к Рождеству Потемкина больше не беспокоили.

Но это ничего не значит, основа положена, стихи вышли, и вхож ко всем "старейшинам",и сам "епископ" (С. П. Дягилев) руку подает.

- Я говорил Петруше, - объяснял Котылев, - стесняться нечего: ну, поиграют-поиграют и бросят. Так оно и вышло,я этих господ знаю,а ему какая убыль - слава Богу, на всех хватит!

Пристроив Петрушу, Котылев занялся "семейными" делами и "благотворительностью". Он "женил" своего старшего сына: он сам облюбовал какую-то знакомую своей безропотной Марьи, подверг ее насильственному "строжайшему испытанию" и передал сыну.

"Теперь я спокоен, - говорил Котылев, - по крайней мере, все чисто, а то живо нарвется на какую-нибудь блядь..."

А "благотворительность" заключалась - в Гумилеве: Котылев решил тоже его женить, что было не так просто, Гумилев артачился, но в конце концов

Котылев уломал, и свадьба совершилась на квартире Котылева за перегородкой.

Я продолжал начатую в памятный вечер повесть о табаке. Главным источником для меня были "Розыскания" академика А. Н. Веселовсского. Я пользовался всеми его указаниями и изучил всю литературу о "происхождении табака". Вышла "Гоносиева повесть": рассказывает святогорец-монах. Самой форме я обязан и "живой жизни" - мои встречи с монахами "блудоборцами" - и прославленной Аполлоном Григорьевым книге "глубокочтимого" инока Парфения: о святой горе Афонской (1856).

На святках я читал мою повесть "старейшинам" (Бакст, Сомов, А. Н. Бену). Сомов готов сделать иллюстрации, но издать книжку? - цензура не пропустит, и кто возьмется издать такую книжку?

* * *

"Копытчик", С. К. Маковский,и с ним "кавалергарды" С. И. Тройницкий, А. А. Трубников,М. П. Бурнашов и пятый Н. Н. Врангель основали издательство Сириус, и типография.

Первая книга издательства Сириус - мой "Пруд" (СПб. 1908).

Судьба моих благодетелей: Копытчик и бабовидный в ажурных чулках А. А. Трубников - Париж. Тройницкий, бородатый, остался в России, был главным в Эрмитаже, его отставили. Жив ли, не знаю. Врангель был ближайшим к "Старым Годам", помер в Петербурге. М. Н. Бурнашов, после Правоведения учился в Археологическом институте, учился с Серафимой Павловной, не моѓ кончить, опаздывал на экзамен - это родовое Бурнашовых, его отец трижды опаздывал в церковь на свою свадьбу; Бурнашов эмигрировал, жил в Риге, сделался священником и помер до войны. Он был кроткий и тихий. Гонорар за "Пруд", кажется 200 рублей, он носил в кармане несколько лет и все забывал отдать.

На вечере у Копытчика я читал "Пляс Иродиады" из моего Лимонаря. Художник Димитриев показывал

свои иллюстрации к "Пруду" - у него был целый альбом, штук двести. (Куда это все девалось и какая судьба Димитриева, не знаю).

В этот вечер был разговор о издании моей повести о "Табаке". На прощанье Копытчик дал мне великолепный букет цветов - цветы постоялые, но еще держатся, и я долго хранил их.

Разговор о издании продолжался у Тройницкого.

Я бывал на Сергиевской 5, в доме сенатора Тройницкого. Сенатора я никогда не видел, я проходил на половину сына. Его приемная - антикварная лавка: чего-чего только не было. Но хозяин гордился своими изданиями (Сириус) - были книжки, изданные в единственном экземпляре!

Мой "Табак" решено было издать в количестве 25-ти именных экземпляров, без обозначения типографии, а только имя издателя:

повесть сию написал на святках 1906 года
А. Ремизов, рисунки делал К. Сомов,
напечатал двадцать пять именных
экземпляров С. Н. Тройницкий

И бояться Тройницкому нечего. Все экземпляры он передаст в "собственные руки" и ни одного в продажу.

Так оно и было.

Тройницкий сам разнес "Табак", именные, и успокоился.

Но не так оно было, какой там шито-крыто, слава о моем "Табаке", как когда-то о его прообразе - Потемкинском, разнеслась по всему Петербургу: кто не видал Потемкинского в ларце, любопытно было взглянуть на Сомовскую "копию". Тройницкого осаждали просьбами - достать "Табак", но всем один был ответ: двадцать пять именных не для продажи. Для прочтения он давал свой именной экземпляр, все были очень довольны и подбивали Тройницкого повторить издание.

Но не так посмотрел сенатор Тройницкий. До него дошел слух: кто-то из высоких особ видел, а ско-

рее слышал, что в Петербурге появилась книга,издателем которой значится его имя, Тройницкий, а книга такая - по двум статьям: "за кощунство и порнографию".

А сенатор ничего не знает, только догадывается, очень взволнован, вызвал сына для объяснения. И прежде всего потребовал книжку. И убедился, что издана Тройницким, а ведь он тоже Тройницкий! А когда прочитал книжку, вынес свое сенаторское решение: "Все двадцать пять экземпляров отобрать и сжечь".

Уж ему и то, и се - и "ограниченное", и "именное", уперся старик: "Собери и жги!" До слез пронял, и досадно.

Много стоило трудов убедить сенатора в бесполезности сжигать. В конце концов сенатор согласился, но под условием: Тройницкий должен всех обойти "именных" и собственноручно бритвой выскоблить на последней странице "Тройницкого".

С. Н. Тройницкий исполнил сенаторский указ, но ходить с бритвой постеснялся, он был уверен, что каждый из нас исполнит его просьбу и имя Тройницкого испарится. Все мы, конечно, обещали. В моем экземпляре, хранится у Г. В. Чижова, стертое имя Тройницкого восстановлено чернилами.

* * *

В это время я трудился над перепиской моей повести: на больших листах полуустав с красными и голубыми заглавными буквами; к моим листам вложены листы с оригиналами рисунков Сомова. А все вместе в папке.

Дороже всего стоила папка. Сомов получил 900 рублей (по 300 рублей рисунок), а мне за мою писчую работу 50 рублей. Этот единственный рукописный экземпляр сделан был по заказу Николая Павловича Рябушинского. И отвезен к нему в Москву в редакцию "Золотое Руно".

В Москве ахали и удивлялись. А перед отсылкой в Москву мой текст был сфотографирован В. Н. Ивой-

ловым (Княжнин), он достал фотографический аппарат и увековечил. Негативы взял к себе П. Е. Щеголев, обещал сделать оттиски, да так и не собрался,и памяти у меня никакой не осталось.

Как-то в Париже, в канун "ликвидации троцкистов" и Тухачевского, я встретил А. Я. Аросева. Я шел из NRF от Paulhan'a, нацеливался переходить Bd, St. Germain - для меня всегда очень трудное, и вдруг меня кто-то взял за руку,сразу я и не узнал. А это был Аросев.

"Вот вы меня забыли, - сказал он, - а вас забыла Россия, но я не забывал никогда!"

С Аросевым я познакомился в Берлине, он издал свои рассказы и пришел к нам с книгой. Потом в Париже, советник посольства, редко, но все-таки заходил на Av, Mozart, всегда приносил новые книги из России. А потом его сделали послом в Праге, и эта встреча в Париже да еще на опасном переходе была неожиданная. Он только что из Москвы, возвращается в Прагу, а в Париже на несколько дней.

"Перед моим отъездом из Москвы, - сказал Аросев, - мне показал Лядов..."

- Какой Лядов, родственник? (Я подумал,сын Анатолия Константиновича).

- Нет, ему не Лядов, нашли при обыске, ну,знаете, все так и ахнули: ваша рукопись. Вы догадываетесь?

Я понял, о чем речь, и порадовался, что мой труд с "Табаком" не пропал: это была моя рукопись с оригиналами Сомова в папке Рябушинского.

- А вы знаете, - сказал я, - за эту рукопись я получил когда-то пятьдесят рублей.

- Хуль! - отозвался Аросев и объяснил значение этого английского слова: "х..обот" в России запрещен, а Пришвину никак не обойти в рассказе. Пришвин и придумал. И напечатал: "хуль" - звучит по-английски, а по-нашему и дурак поймет.

Так мы на "хуле" и расстались.

А какая судьба Аросева? Старый большевик, в чистку попал в "троцкисты", сослан в Сибирь, а потом - дальше и не знаю.

* * *

В революцию 1918-1921 (до "нэпа") единственное частное издательство: "Алконост" (Самуил Миронович Алянский, а впоследствии Миша). У издательства никаких средств. Бумага - "через преступление": из запасов Государственного Издательства.

Под "Изд. Обезвелволпала" вышла с рисунками Бакста моя "Сказка о царе Додоне", подготовлялся "Табак": Сомов сделал новые рисунки, было готово клише. Заведующий Госиздатом Илья Ионов дал разрешение.

Но тут нежданно-негаданно все перевернулось.

Посланный из типографии с клише задумал позабавить каких-то своих товарищей: развернул пакет и при всей честной публике показывает Потемкинскую куклу.

Кто удивлялся, кто ахал, и хохотали во все грохота. А проходили какие-то из рабоче-крестьянской инспекции. Видят, толпа и гогочут. Остановились. В чем дело? - Да прямо на куклу.

"Что за безобразие?" И сейчас же посланного: "Куда и зачем?" Посланный только и мог сказать: "Из типографии в Госиздат к товарищу Ионову". Свернул пакет и пошел.

И те пошли себе.

Но этим дело не кончилось, а только начинается. На другой день к Ионову "делегация от партийных баб".

"Как это так, - говорят, - нашим детям нет бумаги для учебников, а на куклу находится!"

И пошли крыть.

Ионов попробовал было вступиться за бумагу: "На такой бумаге учебники не печатаются, и бумаги-то такой на книгу не набрать - обрезки".

Да с бабами нешто сговоришь: наладили свое.

"На куклы,небось, находится!"

Я пришел к Ионову, вижу чем-то расстроен: "В чем дело?"

"С куклой, говорит, попался, и теперь ничего нельзя сделать, самого в чеку возьмут".

И рассказал мне всю историю.

"Пускай утихнет".

Так на утих и отложил издание. А на утих мало было надежды. Все забывается, а про эту куклу как выжгло, нет-нет да и помянут. И так это Ионову надоело, и разговаривать - напоминать о издании - стало трудно.

Прошу его: "Отдайте мне Сомовские картинки и больше мне ничего не надо".

Ионов согласен, да не может вспомнить,куда запрятал - в которое место. Он когда-то сидел в Шлиссельбургской крепости и там повредился: отшибало память. Я верю, не для слова, чтобы отделаться,говорил он мне, а по правде: спрятал на случай "баб", а куда - ну, не может вспомнить. Уж он и ножку у стола завязывал - но и ножка не помогла, так я и уехал за границу.

И никогда не забывал, что на Невском в безобразнейшем доме Зингера в Госиздате в каком-то шкапу у Ионова запрятаны, лежат Сомовские картинки.

Как-то в Берлин приехал Ионов и зашел к нам, принес свою книгу - Ионов писал стихи: П. Я. (Якубович-Мельшин) был для него каноном поэзии. За чаем стали вспоминать знакомых и всякие прошлые дела и деяния. Я спросил о Сомовских рисунках (Сомов еще был в России).

"Как же, - сказал Ионов, - я нашел и на самом на виду, на столе лежали, а я был убежден, запрятал".

- Так чего же вы не привезли?

- Забыл, - сказал Ионов, - приготовил и забыл.

Я почувствовал, что это неправда, а просто напуганный "бабами" боится. Я ему еще и еще раз объясняю, как ценны эти рисунки Сомова и валяться им не годится.

- У меня ничего не заваливается! - обиделся Ионов, а потом самому стало неловко: ведь как же иначе назвать, сколько, действительно, искал,а они лежали у него под носом.

Ионов на прощанье пообещал или с дипломатическим курьером или с верным человеком, а непременно вернет и оригиналы и клише.

- А ваша рукопись, не знаю где.

- Да Бог с ней, мне важны рисунки.

Никакой курьер мне ничего не передавал,так и в Париж переехали, от Ионова никаких вестей.

И вот уже в Париже появился у нас на Villa Flore знакомый из России.

Когда-то заведующий хозяйством в Отделе Управления Петрокоммуны, занимал он это высокое место, хоть никогда партийным и не был, а по родственному. В Петербурге у нас бывал, и мне удавалось через него получать кое-что из "ненормированных" продуктов. Он все мечтал сделать меня "главным" над всеми игрушками Советского Союза, чтобы легче было нам жить в тягчайших условиях коммунистического опыта под властью "Гришки Зиновьева".

По пути в Америку, где он получил высокое назначение по закупкам, он остановился в Париже. Перемена только во внешнем: за эти годы он отъелся и похож был на нашего лавочника-итальянца в довоенное время.

И сразу повинился: Ионов дал ему клише для передачи, но он не посмел.

- Открыто везти страшно, я запрятал в подушку. Ионов говорит: "давай я тебя обыщу для примера". Я разложил перед ним все, что из вещей беру в дорогу. И он прямо на подушку, запустил руку и... вынимает "куклу". И пришлось оставить. Подушку зашила Марья Гитмановна (Каплун), а клише забрал назад к себе Ионов.

А когда я встретил в Париже К. А. Сомова,я ему рассказал, как кончилась история с "Табаком" - с его новыми рисунками 1920 года.

Сомов выслушал молча, - первое время за границей он был так напуган,он боялся о чем-нибудь спросить, что было "там и оттуда", - мне показалось,во время моего рассказа он прислушивается, не подслушивает ли кто?

Я уверен, что рисунки Сомова не пропали,когданибудь их откроют, и будут изданы - клише есть. Но это когда то будет. И я решил - самому сделать рисунки. И пусть будет рукописный единственный экземпляр.

За год до войны, в 1938 году, я осуществил мою затею. Моими завитными буквами я переписал "Гоносиеву повесть" и к ней десять рисунков черным: 1) Преподобный инок Саврасий,2) Чудо морское и Чудо лесное, 3) Нюх и Дух - иноки, 4) Падение с рыбой, птицей и прочим скотом, как живым, так и битым, 5) Падение с мравием,6) Бесовское действие,7) Падение с мухою, 8) В бане: Саврасий и праведные жены, 9) Последнее целование и 10) Истинный образ Табака.

Рукопись в красном разрисованном переплете,корешок серебряный. Альбом принадлежит С. М. Лифарю.

А понимает ли Лифарь, что этот "Табак", родословия Эрмитажной редкости, музейная ценность? Я не спрашивал. Этим "Табаком" я закрываю дверь в мое "табачное отделение" (1906-1938).

Блок

десять лет

Десять лет со смерти Блока - срок столетия. Годы с 1917-го идут не дневными шажками, а десятилетиями, время подкатывается вихрем. Вихрь, унесший Россию, вьется над побережьем Океана, и здесь, на старых камнях, каким трудом сложившаяся жизнь хряснула. И в такие тревожные кануны десятилетие - этот вековой срок - историческая проба и испытание. И разве не ясно в десятилетнюю память и сказать неправду: как крепко и громко через свист вихря имя Блок. И я скажу: говорить можно о России и под знаком Блока. И это удел немногих.

Через десять лет странствования - а я только так и могу говорить, потому что день смерти Блока - это тот день, когда мы ступили на чужую землю, в этом наша общая судьба: расстаться с Россией... И через годы "пустыни", дней молчания и труда, выступает передо мной лицо человека с упорными беспощадными глазами, человека, окаменелого в том твердом убеждении, которое движет горами, он смотрит, не закрывая глаз, на это пенящееся, булькающее, гоняемое, гонимое и встряхиваемое вихрем, на эту вздыбившуюся жалкую жизнь бунтующего человека, а бунтует человек, когда... "больше так жить невозможно!" - и то же лицо человека, с глазами, погруженными в слух, туда, через "черное, черное небо" в будущее судьбинное. А смотреть так беспощадно и "убежденно", окаменев, когда с чистым дуновением человечески-из-человеческих пожеланий подымается смрад и струями ползет дрянь, может человек не от бесчувствия, а от потрясенной совести: "невыносимо вопиет поруганная жизнь, и другого исхода нет!" -

а слушать, обращенному туда,за череп "черного,черного неба", может только человек по врожденному страшному дару "слуха".

Одни люди родятся уверенные, безмятежные и самодовольные (по Достоевскому,это "деятели" - тупые или отупелые), и другие - никогда не успокаивающиеся и с обнаженной совестью (по Достоевскому, это - "мышь"). Из встреч за все мои годы, а меня не обездолила судьба, я знаю только двух с такой обнаженной совестью и с таким беспокойством, и один из них Блок.

"Человек, никогда не меняющий своих мнений,подобен стоячей воде и в мыслях своих рождает гадов" (Блейк) - и как завидна, какой покой, такая жизнь человека; но у "имеющего внутрь бурю", в неумирённости, с надрывающимся сердцем - какая тягчайшая доля!

За год до смерти Блока, в мае 1920, на моем "чтении" - я читал главу из моей "Плачужной канавы", где вновь, после "Крестовых сестер", через десять лет, я спросил себя: "что есть человек человеку?" И ответил: "Человек человеку бревно... нет, человек человеку подлец". И еще спросил себя,вдруг вспомнив все-то до последних дней моей жизни и оглянув жизнь в эти наши жгучие бедовые годы, и ответил: "Человек человеку дух утешитель". И из всех, кто слушал чтение, никто так горячо не отозвался, как Блок: "Я уж и не знаю, что еще можно сказать". И это осталось у меня в памяти - не за себя, а за Блока.

И еще, я это тоже запомнил: прощальное - последнее наше выступление. В марте 1921 года,на общем последнем чтении я читал из начатой в то время "Взвихренной Руси" рассказ "Находка": не подлец,никакой "злодей" герой моего рассказа,а "шут гороховый" - трагикомедия из "мизерной" жизни нового складывающегося головокружительного быта, и смех был последним общим словом. Пересмеявшись,Блок читал свое:

Да, так любить, как любит наша кровь -
Никто из вас давно не любит...

Блок еще мог смеяться,так еще далек был от надвигавшейся роковой беды, придет, наступит через два месяца: 1 мая возвращение из Москвы - совсем больной - и затвор до смерти. Май,июнь,июль и семь дней августа - агония.

Блок умер 7 августа, в день св. Гаэтана - имя из "Розы и Крест".

Блок умер, потому что умер. Срок жизни его был отмерен. Должен был и не мог не умереть. И мучения его были безмерны. (Сердце). В его смерти было роковое, как в смерти Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Есть тайна "слуха", а дар "слуха" тоньше и выше дара "зрения". Но этот дар "внутреннего слуха" так не проходит: что-то, как-то и когда-то случится, и вот - человек пропал. Я это говорю, раздумывая о судьбах, не вровень с обыкновенным,по невольным признаниям в предании или в оставленных книгах.

Я не могу говорить о Блоке: и через десять лет - через этот "век" - я живо чувствую его живым, со мной всегда кротким, и его улыбку. Круг с каждым годом теснее. И память о тех, с кем прошла жизнь,и кто уже больше не скажет, крепка.

ПО СЕРЕБРЯНЫМ НИТЯМ

ЛИТИЯ

Наше крепкое день-изо-дня, много лет, и кануны и "взвихренная", наше неисчерпаемое кончилось. И серебряные нити моих сонных мыслей вдруг рассеялись.

"Умер Блок".

Серафима Павловна заплакала.

Ее горячие, ее пламенные слезы - больно человеку глядеть, и зверь различит эти слезы. Породы

каменной,колыбель моя - кремлевские стены,вся Москва - мне тын, и на огне моя душа раскол, она звенит, окаменеваю.

7 августа Блок покинул землю. И в то же самое утро - 7-го - "утро туманное, утро седое" - на рубеже мы прощались с русской землей. Блок в путь "всея земли", наша дорога в чужие - и среди своих и среди языка чужого.

Со всей болью моей - горючим камнем - перед неизбежным: так оно и должно было быть, что было - "до самыя смерти".

На чужой земле похоронил я Серафиму Павловну - ее живую, глубокую, необозримую память: весь Блок. И мне, полуслепому, никто уж не напомнит любимое - стихи Блока.

Я говорю о земле: чужая - но разве земля чья? Тяжелые, напоенные кровью, "свое" и "чужое" - это проклятие, эти крепости: на ногах огибни, на руках наручи, на шее цепь... но живому, и разве отымусь от оков, расставаясь?

> "Я затеплю лампаду моей страдной веры,буду долгими ночами трудными слушать твой голос,сокровенная Русь моя, твой ропот, твой стон, твои жалобы".
>
> ("Взвихренная Русь")

Русский,с годами еще руше, я спрашиваю из моего затвора: заговорит ли Россия по-русски?

А вы, Александр Александрович,вспоминаете Россию?

Часто за эти годы, посмертные,снился мне Блок. А что, как не сон, единственная у нас, живых,связь с тем миром? По желанию только в "Тысяча и одной ночи" сны снятся; сны не прошены, не зованы, они сами приходят.

Вы приходите ко мне по серебряным нитям так же легко и воздушно, как сильфы с трепетом, голубое,и детской улыбкой. Конечно, вы вспоминали Россию и не раз и никогда ее не забудете - через меня вспоминаете там: горячо и всецело люблю *настоящую,прошедшую и будущую* Русь.

Гость или изгнанник. Гадаю. Нет, тут мы с вами по-разному.

Про себя хочу думать, я гость в этом чудесном мире - его, горечью отравленное счастье, и его,мне особенно по душе, "бессмыслица" и "без-образие", и я не какой-нибудь гость выдающийся, но и не такой, "которого не велено пускать": с "подстриженными" глазами кротом тычусь, при свете мне очень неловко, и никогда за всю мою жизнь не приходилось присесть к столу по-человечески. Слава Богу,нынче мне ничего, пока что, а то, нищетой забит, спички считал и лаялся. Александр Александрович, про это я с вами, чего вы не знаете, разговариваю. Тоже все ваши стихи переслушал, носом клюя, ничего не поделаешь, не сердитесь.

А вот Блок не гость, Блок - изгнанник. За какой грех или за какое преступление? В "Красной свитке" черта выгнали из пекла: "пожалел" - там это не годится, а Блок - не из пекла, и всю-то жизнь в чем-то винился.

Заклейменные, как и его брат Бодлер, как Гейне - которого так любил, и на земле жизнь свою он мучил. Боль - ее не скроешь, и тоска, пронизывающая стих, и это пение (пускай цыганское!) - напев подгудных песен отмеченного судьбой.

И какая потерянность среди людей. И только в-пьяне можно еще как-то осмелеть и, смотря в глаза, ответить, не спотыкаясь, хотя бы и не то.

Блок заболел весь, "всем человеком", как Аполлон Григорьев. С Блоком много сходства, даже внешне, только Блок без голоса, а Григорьев под гитару пел свою венгерку: "Две гитары, зазвенев, жалобно завыли..." (Воспоминания Фета). Впрочем, один конец: срок отбыл, собирай вещи и домой, живо! Блок обрадовался, заспешил, тут ему и дух вон. И понесет он только свою совесть - совесть, говорят,надо проверять разумом, а какая ж там логика! - совесть наша не легкая.

А помните, Александр Александрович, в такой же затаенный, как сейчас, без солнца и без грозовых

туч, теплый, серый летний день, бродя по опустелому Парижу, мы зашли в Сорбонну и по пустым залам ходим - и с тем же благоговением, неизбывным для Достоевского на всю жизнь: "старые камни Европы" и "дорогие могилы". Мы ступали по следам Петра, Тредиаковского, Кантемира, Фонвизина, Карамзина, Тургеневых, Гоголя, Герцена, Погодина, Шевырева, Хомякова, И. С. Аксакова, Аполлона Григорьева. Мы - только "странники с русской земли". Странником с русской земли, так и живу, и никогда не догадаться, что здесь из моего по сердцу, говорю и отвечаю втемную, простой народ меня "гулящего" принимает за китайца: "забеглый Китай", фамилия трудно выговаривается. Но ваше имя всеми буквами прозвучало по-французски нынче, на русского Купалу, здесь, в единственном городе, Париже, в единственной Сорбонне, как свое, и среди теней Сорбонны я различаю вашу тень - Шатобриан, Ламартин, Гюго, Мюссе, Верлен... а слова о вас - Sophie Bonneau "L'univers poétique" - венок на ваше измученное сердце.

В ту ночь - Купальская - после волшебного дня "мировой поэзии" - серебряные нити, мои сонные дороги увели меня далеко, и я очнулся под Москвой в Звенигороде. В детстве не раз стоял я там, на лугу у леса, и вот опять глазами к тихим полевым цветам. И все это живое, пестрое тянется ко мне, выговаривая тонко-цветно, по-цветочному. И потому что я один, я понимаю, но ответить не могу. Пасмурный день сторожит меня кукушкой. И такое чувство - я, как тот пустынник, заслушался, птичка поет, думал, с час, а прошло тысяча лет.

И какой бедной глянула на меня моя нарядная, цветная, вся в серебре, стена - кукушка не кукует - за окном в гараже зудит автомобиль, и только книги - мой пасмурный день.

Александр Александрович, какие мы за эти годы! Ошеломила ли душу изводящая тревога или непоправимое - утрата - злее совести? Слова стерты, куцы или топор, сказки забыты, и только все около носа без всякой дали - и разве неисследимая жизнь так

убога? В серебряные нити снова вломились тугие мысли дня - сон без сновиденья.

Апесандр Александрович, если бы вы знали,как я радуюсь всякому с воли залетевшему листку, всякой зеленоглазой травке - пусть на ногах занесли, всякому теплому перышку, всякой игре волны - морской раковинке; и какое счастье на лице человека встретить детскую улыбку. Я вас всегда помню.

К звездам

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко у царских врат
Причастный тайнам - плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Бедный Александр Александрович!

Покинуть так рано землю, никогда уж не видеть ни весен, ни лета, ни милой осени и любимых белоснежных зим.

И звезд не видеть - сестер манящих - как только они нам светят!

Не видеть земли, без "музыки" - это такая последняя беда, и от этой беды не уйти -

а если вовсе и не беда, а первое великое счастье?

Но почему же для вас так рано?

Это я, еще бедующий здесь вместе с веснами и любимыми вьюгами и моей звездой серебряной, я стучу в затворенную дверь и не могу, и никак не свыкнуться с этим вашим - счастьем.

В то утро - а какая ужасная была ночь - Лирова ночь! - какой рвущий ветер и дождь,

ветер ввиил -
и сам щичавый зверь содрогнулся б!
ветер до - сердца!

В суровое августовское утро, когда покорные судьбе,в скотском вагоне,как скот убойный,мы подъезжали к границе, оставляя русскую землю, дух ваш переходил тесную огненную грань жизни и вы навсегда покинули землю.

И еще огонек погас на русской земле.

* * *

А в день похорон, когда вашу Трудовую книжку с пометкой -

литератор
грамотен
ПТО

дали в отдел Похорон, я свою,с той же самой пометкой и печатью, только нарядную, единственную,узорную по черному альм с виноградами, птичкой и знакомыми нумерами Севпроса, Кубу, Серабиса, отдал в Нарве в отдел Пропусков.

Счастлив ли дух ваш?

Хоть на мгновенье вы обрадовались там - вы радовались за гранью этой жизни, этой бушующей *лировой* ночи?

Или вам еще предстоит встреча - счастливые дни?

А я скажу - про себя вам скажу - ни на минуту, ни на миг. И не жду.

Это такое проклятие - вот уж подлинное несчастье! - оставить родную всколыханную землю, Россию, где в бедующем Злосчастье наперекор рваной бедноте нашей, нищете и голи выбивается изумрудная молодая поросль.

Помните,в Отделе Управления мы толкались в очереди к Борису Каплуну: вы потеряли паспорт - это было вскоре после похорон О. Л. Батюшкова - и надо было восстановить, а я с прошением о нашей погибе-

ли на Острове без воды и дров - помните, вы сказали, поминая Батюшкова, что мы-то с вами -

- Мы выживем, последние, но если кто-нибудь из нас...

И я в глазах ваших видел, не о себе это вы тогда.

Бедный Александр Александрович - вы дали мне папиросу настоящую! пальцы уж у вас были перевязаны.

И еще вы тогда сказали, что писать вы не можете.

- В таком гнете невозможно писать.

А знаете, это я теперь узнал за границей, что для русского писателя тут, пожалуй, еще тяжче,и писать не то что невозможно, а просто нечего: ведь только в России и совершается что-то, а тут - для русского-то - пустыня.

Уйти временно в пустыню, конечно, для человека полезно, в молчании собрать мысли - ведь нигде,как в пустыне, зрение и чувства остры. - Гоголь уходил в римскую пустыню для "Мертвых душ". Тоже и поучиться следует, на старых-то камнях - "одним хоботом мазать невозможно", - правильно Толстой заметил, Алексей Н. Только вот на счет прокорму - писателям и художникам везде приходится туго! - надо какую-то работу, а всякая посторонняя работа, вы-то это хорошо знаете, засуетит. И выйдет то же на то же. И если судьба погибнуть, так уж погибать там у себя на миру в России.

* * *

Это хорошо, что на Смоленском - и проще и не суетно - и никто-то вас не тронет, не позарится на вашу домовину, и Горького не надо просить, беспокоить.

Помните, как вас из вашей-то насиженной выгнали?

А может быть,и там ваша душа проходит еще злейшие мытарства? И эта жизнь - четырехлетний "опыт социального переустройства" - ясно говорившая вам

уж одним своим началом всеобщего уравнения, когда вы, недоумевая, спрашивали, "нужны мы или не нужны?" - да, конечно, такие не нужны, эта жизнь прицепившая к вам бестий ярлычок "буржуазного поэта" - изобретение всеупрощающее, подхваченное умом не очень взыскательным и отнюдь не беспокойным,а также примазавшейся "шкурой" и прихвостившейся мразью, загнавшая нас в третью категорию со всякими трудовыми повинностями - сгребать снег на мостовой,скалка льда, разгрузка барок с дровами, чистить загаженные дворы, эта жизнь, которая не давала вам никакой воли, заставляя вас, как всякого, служить и, как все, без конца учитывая, регистрируя и заставляя заполнять анкеты, а за каждую милостыню - ведь ученые, писатели и художники это вытянувшийся дрожащий хвост нищих на паперти Коммуны! - за каждый брошенный кусок и льготу (право "просачиваться!") тыча вас носом, как кошку, и не однажды честившая вас, как ломового извозчика ("Мы художники-писатели, а с нами обращаются, как с ломовыми извозчиками!" - говорили вы в гневе), и наконец, отнявшая у вас досуг и "праздность", эта наша переустраивающаяся русская жизнь, искалеченная войной и войнами, и вот доконавшая, покажется вам легким сном?

Я верю, за ваше слово, за "музыку" и там,в норах и канавах - в безнадежном томящем круге,в кольце ожесточившихся стражей, и там найдутся,кто станет за вас, и там найдется свой - Горький.

Впрочем, что это я - это я все о "гнете" - горькое слово ваше запало! - это я по-русски, - а ведь было и совсем другое! - по закоренелому нашему злопамятью.

И знаете, Александр Александрович, да это вы знаете, и это говорю я не для пуга, не всегда-то Горький и Марья Федоровна могут: перед своим уходом из ПТО какую она мне подпись подписала под прошением в Петрокоммуну царскую, а все-таки отказали, и уж в Ревеле в довоенной рвани с вокзала я каблук в руке нес.

И Гумилева - расстреляли! - Николай Степанович покойник теперь - и Горький не всегда может, стало быть.

* * *

Да, хорошо, что на Смоленском.

Федору Ивановичу, хоть и обидно - помните покойника Ф. И. Щеколдина, любил он вас! - это когда с Гороховой-то нас выпустили, он вскоре и помер,на советских мостках в Александро-Невской Лавре лежит, - ну, Федор Иванович поймет.

Я. П. Гребенщиков и его сестры, они на Острове, соседи наши, от них до Смоленского два шага, они-то уж как будут могилу вашу беречь, знают там каждый холмик, придут и на Радоницу - красное яичко принесут, похристосуются, и на зеленый Семик, и на Дмитровскую субботу. Гребенщиков - книгочей,всякую вашу книгу имеет и на иностранном, он один такой в Петербурге, он и могилу не оставит, "князь обезьяний".

А ваш обезьяний знак,Александр Александрович - его ни в какой отдел не потребуют - забыл я, с чем он - картинка - с каким хвостом или лапами? - у П. Е. Щеголева с лапами гусиными и о трех хвостах выдерных.

И вам будет легко лежать в родной земле.

Мы тоже коробочку взяли с русской землей.

Глаза ваши пойдут цветам,
кости - камню,
помыслы - ветру,
слово - человеческому сердцу.

* * *

Бедный Александр Александрович.

Все никак не могу убедить себя, что вас уж нет на свете.

Вот тоже когда Щеколдин помер, я тоже долго не мог: схвачусь и все будто папиросу ищу - сам курю и ищу, как в бестабашье.

Передали ли вам мое последнее слово?

- Что ж сказать Блоку?

А я точно испугался - чего-то страшно стало - не сразу ответил.

- А скажите Блоку: нарисовал я много картинков, на каждую строчку "Двенадцати" по картинке.

Пусто и жутко было в моей комнате: пустые полки, и игрушек не было, пустая зеленая стена с серебряными гнездышками, и ваша "ягиная черпалка" - помните, на Островах нашли? - убралась в жестяную довоенную коробку из-под бисквитов вместе с "гребнем ягиным", и только огонек перед образом неугасимый светил, как всегда, в последнюю ночь, разбирали последнее, как после похорон.

- А это значит, - объяснил я, - за эти три месяца я думал о нем.

Евгения Федоровна Книпович так и обещалась передать.

А незадолго перед тем заходил к нам Евгений Павлович Иванов - и *каждый вечер друг единственный* - он, как всегда,вошел боком и стоя завели разговоры, без слов, больше мигом, ухом и скалом,вас поминали и, как Чучела-чумичела и кум его Волчий хвост -

"шептались долгое время".

Евгений Павлович тоже кавалер обезьяний - с лягушачьим глазом и хвостом рогатого мыша! - с Гребенщиковым снюхаются и пока живы, бородатые, один рыжий, другой черный, как бесы из "Бесовского действа", дико козя бородами, станут на страже,не покинут вашего Креста.

* * *

Трижды вы мне снились.

Два раза в городе рыцарей - в башенном Ревеле и раз тут в зеленом Фриденау, в Фремденхейме Фрау Пфейфер, над Weinstube, по-нашему - над кабаком.

Видел вас в белом, потом в серебре,и я пробуждаюсь с похолодевшим сердцем. А тут - над Weinstube

- вы пришли совсем обыкновенным, всегдашним, и мне было совсем не страшно. Я вас просил о чем-то, и вы, как всегда, слушая, улыбались - что-то всегда было чуднóе, когда я говорил с вами.

Из разных краев, разными дорогами проходили мы до жизни и в жизни, по крови разные - мне достались озера и волшебные алтайские звезды, зачаровавшие необозримые русские степи, вам же скандинавские скалы, северное небо и океан, и недаром выпала вам на долю вихревая песня взбаламученной вздыбившейся России, а мне - погребальная над краснозвонной отошедшей Русью.

Где-то однажды, а может не раз, мы встречались - на каком перепутье? - вы, закованный в латы с крестом, я, в моей лисьей острой шапке под вой и бой бубна - или на росстани какой дороги? в какой чертячьей Weinstube - разбойном кабаке? - или там - там на болоте -

И сидим мы, дурачки,
Нежит немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Судьба с первой встречи свела нас в жизни и до последних дней.

И в решающий час по запылавшим дорогам и бездорожью России через вой и вихрь прозвучали наши два голоса России -

на новую страдную жизнь
и на вечную память.

* * *

Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре - фонари...

1905 год. Редакция "Вопросов Жизни" в Саперном переулке. Я на должности не канцеляриста, а Домового - все хозяйство у меня в книгах за подписями

(сам подписывал!) и печатью хозяина моего Д.Е. Жуковского, помните, "высокопоставленные лица" обижались, когда под деловыми письмами я подписывался "старый дворецкий Алексей". Марья Алексеевна,младшая конторщица, убежденная, что мой "Пруд" есть роман, переведенный мною с немецкого, усомнилась в вашей настоящей фамилии:

- Блок! псевдоним?

И когда вы пришли в редакцию - еще в студенческой форме с синим воротником - первое, что я передал вам, это о вашем псевдониме.

И с этой первой встречи, а была весна петербургская особенная, и пошло что-то чудное, что-то, от чего, говоря со мной, вы не могли не улыбаться.

Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской с вашим "Балаганчиком" и моим "Бесовским действом" - Вс. Мейерхольд - страда театральная.

"Неофилологическое общество" с Е. В. Аничковым - весенняя обрядовая песня и ваше французское средневековье. Вечера у Вяч. Иванова на Таврической с вашей "Незнакомкой" и моей "Калечиной-малечиной" посолонной.

1913 год. Издательство "Сирин" - М. И. Терещенко и его сестры - канун войны,когда мы встречались всякий день и еще по телефону часовали. Вы жили тогда на Монетной, помните Острова, помните двугривенный, ведь я отдал его последний! - как вы смеялись, и после, еще надавно, вспоминая, смеялись.

Р. В. Иванов-Разумник - "Скифы" предгрозные и грозовые. 1918 год. Наша служба в ТЕО - О. Д. Каменева - бесчисленные заседания и затеи, из которых ничего-то не вышло. И наша служба в ГТО - М. Ф. Андреева - ваш театр на Фонтанке, помните,вы прислали билеты на "б. короля Лира".

Комитет "Дом Литераторов" с А. Ф. Кони под глазом Н. А. Котляревского.

И через четырехлетие "Опыта" Алконост - С.М. Алянский, "волисполком обезьяний", мытарства и огорчения книжные, бесчисленные, как заседания, прошения Луначарскому, разрыв и мировая с Ионовым.

Помните, на Новый год из Перми после долгого пропада появился влюбленный Слон Слонович (Юрий Верховский) - вот кому горе, как узнает! - ведь вы первый в "Вопр. Жиз." отозвались на его стихи слоновьи, на "Зеленый Сборник", в котором впервые выступил Слон с М. А. Кузминым и Менжинским.

Помните, Чуковские вечера в "Доме Искусств", чествование М. А. Кузмина, "музыканта обезьяньей великой и вольной палаты", и наш последний вечер в "Доме Литераторов" - я читал "Панельную сворь", а вы стихи про "французский каблук", домой мы шли вместе - Серафима Павловна, Любовь Александровна и мы с вами - по пустынному Литейному, зверски светила луна.

Февральские поминки Пушкина - это ваш апофеоз.

И опять весна - Алконост женился - растаял Невский, заволынил Остров,восстание Кронштадта, белые ночи.

Первый день Пасхи - первая весть о вашей боли.

И конец.

Глаза ваши пойдут цветам,
кости - камню,
помыслы - ветру,
слово человеческому сердцу.

* * *

Странные бывают люди - странными они родятся на свет, "странники"!

Лев Шестов, о нем еще с Петербурга,когда он начал печататься в Дягилевском "Мире Искусства", пущен был слух как о забулдыге - горьком пьянице. А на самом-то деле, - поднеси рюмку, хлопнет и сейчас же песни петь! - трезвейший человек,но во всех делах - оттого и молва пошла - как выпивши.

Розанов В. В., тоже от "странников", возводя Шестова в "ум беспросветный",что означало верх славословия, до того уверился в пороке его винном,всякий раз, как ждать в гости Шестова, вином запасался и всякий раз, угощая, не упускал случая попенять, что зашибает.

А настоящие люди - ума юридического - отдавая Шестову должное, как книжнику и философу, в одном корили, что водится, деликатно выражаясь, со всякой сволочью, куда первыми входили мы с Лундбергом, и все приписывалось "запойному часу" и по "пьяному делу".

А дело-то, конечно, не в рюмке - это П. Е. Щеголев не может! - а если и случалось дернуть и песни петь, что ж? и какой же это человек беспесенный? - дело это такое, что словами не скажешь, оно вот где.

А бывают и не только что странные... Андрей Белый.

Андрей Белый вроде как уж не человек вовсе,тоже и Блок,не в такой степени,а все-таки.

Е. В. Аничков это заметил.

"Вошел ко мне Блок, - рассказывает Аничков о своей первой встрече, - и что-то такое..."

А это "такое" и есть как раз такое, что и отличает нечеловеческого человека.

Блок был вроде как не человек.

И таким странным - дуракам - и как не человекам дан великий дар: ухо - какое-то другое, не наше.

Блок слышал музыку.

И это не ту музыку - инструментальную - под которую на музыкальных вечерах любители, люди сурьезные и вовсе не странные, а как собаки мух ловят, нет, музыку.

Помню, в 1917 году после убийства Шингарева и Кокошкина говорили мы с Блоком по телефону - еще можно было - и Блок сказал мне, что над всеми событиями, над всем ужасом слышит он - музыку, и писать пробует.

А это он "Двенадцать" писал.

И та же музыка однажды, не сказавшаяся словом, дыхом своим звездным вывела Блока на улицу с красным флагом - это было в 1905 году.

Из всех самый крепкий, куда же Андрей Белый - так, мгля газообразная с седенькими пейсиками, или

меня взять - в три дуги согнутый,и вот первый - не думано! - раньше всех, первый, Блок простился с белым светом.

Не от цынги, не от голода и не от каких трудовых повинностей - ведь Блоку это не то что мне,полено разрубить или дров принести! - нет, ни от каких неустройств несчастных Блок погиб, и не мог не погибнуть.

В каком вихре взвихрилась его душа! на какую ж высоту! И музыка...

- Я слышу музыку, - повторял Блок.

И одна из музыкальнейших русских книг "Переписка" Гоголя лежала у него на столе.

Гоголь тоже погиб - та же судьба.

Взвихриться над землей, слышать музыку, и вот будни - один "Театральный отдел" чего стоит! - передвижения из комнаты в комнату,из дома в дом,"реорганизация на новых началах",начальник-на-начальнике и - ничего! - весь Петербург, вся Россия за эти годы переезжала и реорганизовалась.

С угасающим сердцем Блок читал свои старые стихи.

"В таком гнете писать невозможно".

И как писать? После той музыки? С вспыхнувшим и угасающим сердцем?

Ведь чтобы найти слово и выразить чувство,надо со всем железом духа и сердца принять этот "гнет" - Россию,такую Россию,какая она есть сейчас,всю до кости, русскую жизнь, метущуюся из комнаты в комнату, от дверей к дверям, от ворот до ворот, с улицы на улицу, русскую жизнь со всем дубоножием, шкурой, потрохом, орлом и матом, а также с великим желанным сердцем и безусловной свободной простотой, русскую жизнь - ее единственную огневую жажду воли.

Гоголь - современнейший писатель - Гоголь! - к нему обращена душа новой возникающей русской литературы по слову и по глазу.

Блок читал старые свои стихи.

А читал он изумительно: только он один и передавал свою музыку. И когда на вечерах брались актеры, было неловко слушать.

Ритм - душа музыки, и в этом стих.

Стихи не для того, чтобы понимать, их и не надо понимать, стихи слушают сердцем, как музыку, а актеру - профессиональным чтецам - не ритм, выражение - все, а выражение ведь это для понимания, чтобы слушая стих, лишенные "уха", мух по-собачьи не ловили.

Про себя Блока будут читать - стихи Блока, а с эстрады больше не зазвучат - не услышишь, если,конечно, не вдолбят актеру, что стих есть стих, а не разговоры, а безухий есть глухой.

У Блока не осталось детей - к великому недоумению и огорчению В. В. Розанова! - но у него осталось больше, и нет ни одного из новых поэтов,на кого б не упал луч его звезды.

А звезда его - трепет сердца слова его,как оно билось, трепет сердца Лермонтова и Некрасова - звезда его незакатна.

И в ночи над простором русской земли, над степью и лесом, я вижу, горит.

Розанов

ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ

Розанов, исповедник пламенной веры в Вия, Пузырь и Тарантул - в их надзвездном цветении представлено в высшем очаровании Гоголем от "Вечеров" до "Мертвых душ" и Толстым в улыбающейся Наташе и Катюше --

"Да, это так. Это их закон. Не переменятся люди и не переделать их никому, и труда не стоит терять. Кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властен. Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь,тот и всех правее. Так до сих пор велось,и так всегда будет."

Розанов согласен, и это совсем для него неважно, какой подлец или какой мошенник цыкнет.

Вера и закон Розанова - Вий, Пузырь, Тарантул в их надзвездном цветении, в их звездном небе,в их теплой парной земле, и единственная власть - высшее начальство или, по Гоголю, "значительное лицо" (генерал-губернатор),лесной Вий - "царь обезьяний Асыка", выскочивший однажды из-под земли в Эдипову ночь и пьянивший одним дыханием своим все и всех - валахтантарарахандаруфа!

Розанов потом уж спохватился, что "семейный вопрос" без подрастающих галдящих детей невозможно и представить, а дети - ад, хоть из дому беги. "Если бы Василий Васильевич представил себе все, когда писал "Семейный вопрос..." а то ничего-то не знал." Эти слова Варвары Димитриевны Розановой были сказаны под крик из детской и крик Василия Васильевича из его комнаты, которому мешали дети за-

ниматься. И ведь каждый орет: "я есмь". - "А кто это смеет, и что такое я есмь? - я Розанов - я есмь! И больше никого. Никого!!!" После представления "Норы" Розанов искренно недоумевал: "почему же, когда все так хорошо кончилось, Нора ушла от мужа?"

Розанов, не видевший человеческих глаз - да и неважно, лишь бы были "теплые ноги"! - не признавший никакого лица, никакой личности, смел говорить про себя: "я есмь".

....

Тайна, заваленная камнем на Вознесенском проспекте, прорвавшаяся мышью в роковом предсмертном сне Свидригайлова - трехступенном, по глубине и яркости, как Гоголевский "Портрет".

Угрожающий сжатый кулачок повесившейся Матреши; измученный взгляд Лизы (Вечный муж), ее безумный страх и ее последняя надежда... (нет, нет, нет, на совести Достоевского не насилие, ведь насилие - борьба, а тут одно восхищение, поцелуи... "глупое лицо!" - нет, на душе не было такого греха!) и этот "красненький паучок" Ставрогина, это признание Лизы Хохлаковой, одобренное умом Достоевского - Иваном Карамазовым - и принимаемое как свое сердцем Достоевского - Алешей, - распятый мальчик с обрубленными пальцами, висит четыре часа, и ананасный компот, сервированный для четырехчасового созерцания человеческих мучений, и эта неизбывная карающая память Настасьи Филипповны, да еще и эта "печать на душе" - Полина и ее "следок ноги узенький и длинный, мучительный, именно мучительный" - печать Волковская, Свидригайловская, Карамазовская, от которой "идет в мир грех" - стóит только чистосердечно признаться, и гоголевские свиные рыла, обернувшиеся "глупыми звериными харями", обступят тебя, будут пялить на тебя свои буркалы, указывать пальцами - "и мне перед

вами виниться?" - и этот стыд, а главное, подымут на смех, и этот стыд и смех... ведь это все равно что старуху убил - "вшу задавила вошь!" - так с лестницы на лестницу и загнали Достоевского из комнат "светло-голубого" дома в подполье.

А в "подполье" из зеленой слизи, плесени и сыри - из "духовной туманности" открылся богатый мир, и с той же неожиданностью, как там откроется в вечности в этой единственной комнате - в тó-светной закоптелой бане с пауками по углам. И что, ведь оказывается, что какому-то там пауку - этой концентрации первострастей и сил всяких желаний, сока и круговорота жизни - чтобы развесить и заплести свою паутину в "светло-голубом" доме и наслаждаться жертвой, понадобился Эвклид, а самого по себе Эвклида в природе нет и не было, а наша ясная трехмерная ограниченность такая чепуха, какую сам по себе ни один чудак не выдумает; и еще оказывается, что пауки - эти демиурги, распоряжающиеся судьбами мира, по какому-то своему капризу - "разум служит страсти!" - могут нарушить всякий житейский счет, "дважды два" станет всем, только не "четыре", а незыблемый и несокрушимый "четверной корень достаточного основания", смотрите, одна труха, а незыблем и несокрушим лишь в "светло-голубом" доме для тупиц и ограниченных - для всех этих творящих суд звериных харь; и что еще оказывается, что никакой совести и все позволено, и ешь, хоть каждый день, ананасный компот под стоны распятой, искалеченной жертвы. И вот из этого подполья - из паучиной вечности - из смертельно уязвленного сердца и поднялись слова - эти слова в первый раз после Иова зазвучали русским голосом на весь мир - слово Достоевского: "Если уж раз мне дали сознать, что "я есмь", то какое мне дело до того, что мир устроен с ошибками и что иначе он не может стоять. Кто и за что меня после этого будет судить?"

Розанов - ни мучить, ни мучиться не согласен, и никакой злой памяти, а как многое повторял он и

под многим подписывался из этого "Необходимого объяснения" Достоевского - русской книги Иова.

Я вспомнил Розанова, кого же и вспомнить,когда гремит весна и весь наш город, самый расчетливый, математический, пишет стихи; я вспомнил Розанова, неповторяемого, единственного,самого по себе,с его папироской, которую и отпетый, в гробу, подмигнув, закурил бы - "служба долгая, лежать неудобно,покурить страсть захотелось, а полагается или не полагается, все равно". Я его вижу,как ходит он в этой весенней урчащей, прыскающей и хлюпающей гуще,подпрыгивает и лягается, сам с собой, так,просто обалдел, и трезвенник, искренно сокрушавшийся о выпивающем приятеле "несусветимого ума" и презиравший дурака-пьяницу, теперь пьяный от "асычьего" обезьяньего черемушного воздуха; или вот, как вкопанный стоит, обращенный туда, в высь весеннего неба, никогда не различающий человеческого лица, а вот зачарованный мигающими звездочками, бормочущий без слуха и голоса -

Выхожу один я на дорогу...

А этот его "Бог" - Вий, Пузырь, Тарантул - ворожит над ним, брошенным в "светло-голубой" мир на землю, избранным, отмеченным рыжим знаком, с упорным черепом "человека" и неугасимо пышащим сердцем,где в каждой капельке крови "разожжен уголек", колдует над ним, семенящим, близоруким, без слуха и голоса, всеми горячими кровяными словами всасывающим животворящую силу, расцветающую в влюбленной черемушной ночи.

"ВОИСТИНУ"

"Сегодня исполняется 70 лет (1856-1919) со дня вашего рождения, честь имею вас поздравить, Василий Васильевич! В молодости я всё некрологи писал -- Ну, а как же! живым, известно: Бердяев,Щего-

лев, Луначарский, Савинков -- Никогда! Я ж не от худого сердца. Это кто в сердцах, тому и прет одна осклизлость в человеке, а в человеке, вы это сами знаете, всегда найдется, отчего так хорошо бывает, весело (в нашем-то печальном мире - весело!),другой и сам за собой не замечает, в мелочах каких-нибудь,или повадка. Раз как-то Пришвин помянул своего приятеля-земляка (из Ельца тоже и ваш вроде как земляк) и вдруг так засиял - автомобильный фонарь! - и все стало весело, а вспомнил он не "победы и одоления" приятеля, а про яйцо, как ловко приятель яйцо всмятку ел: "Ну так скорлупку содрал чисто, сдунул и все подъел начисто, замечательный человек!"

А мне сейчас почему про яйцо - со стола они на меня глядят,яйца: и красные,и синие,и лиловые,и желтые,и зеленые,и золотое,и серебряное, и пестрые - доверху корзиночка: сегодня второй день Пасхи!

А теперь я пишу не "некрологи", а память пишу усопшим. Крестов-то, крестов понаставили! И все теснней и теснее - и Брюсов "приказал долго жить", и Гершензон "обманул": в прошлом году в Москве похоронили! и этот, помните, кудрявый мальчик - "припаду к лапоточкам берестяным, мир вам, грабли, коса и соха, я гадаю по взорам невестиным на войне о судьбе жениха" - Есенин. Я, Василий Васильевич,памятью за каждое доброе слово держусь - и мне это, как свечи горят последний путь - и одни пустые могилы - повторять во тьму: "люди - злые". Нет, когда-нибудь соберу книгу - "Мое поминанье", все как следует, в лиловом или в вишневом бархатном переплете и золотой крест посередке, там соберу всех, все, что доброе запало,и "о упокой", и "о здравии". Время-то идет, давно ль все расписывались "молодыми писателями", а теперь, посмотрите: в этом году исполнилось 60 лет - Вяч. И. Иванову, Д. С. Мережковскому,Л. И. Шестову. Юбилей Л. Шестова справляли по-русски - три вечера: на дому - литературное сборище, у С. В. Лурье - семейное,и третий вечер -

философское: только философы. Бердяев,Вышеславцев, Лазарев, Сувчинский, Д. С. Мирский, Кобеко,Мочульский (Степун не приехал!), и только я не философ, я за музыканта: читал весь вечер - три часа без перерыва - "Житие протопопа Аввакума им самим написанное", самую жизнерадостную книгу - путь к вольной смерти. А Вячеслав Иванович Иванов в Риме отшельник: поди, пришел сосед П. П. Муратов, поставили самовар, попили чаю с итальянскими баранками, спели орфические гимны, ушел Муратов "комедию" писать, а юбиляр засел за "римские древности" - познания всесветные! ученик Момзена.

....

Дождик не идет, все деревья зеленые - три дня дождь! - закурил и домой не хочется, так бы все и шел -- вот она,какая земля! любимая! -- Вы не понимаете? - - А ведь как вы здесь-то, как любили: каждый корешок, каждую каплю, - вот с крыши на меня сейчас, и еще - это оттуда. Василий Васильевич! - "воистину!"

....

Жил в России протопоп Аввакум (Аввакум Петрович Петров, 1620-1682), жил он при царе Алексее Михайловиче во дни Паскаля, когда Паскаль свои "Pensées" сочинял (1623-1662), и итог своих дел - это "житие им самим написанное": ума проникновенного, воли огненной (конец его - сожгли в срубе!), прошел весь подвиг веры и, стражда, на цепи и в земляной тюрьме долгие годы сидя, не ожесточился на своих гонителей."Не им было,а бысть же было иным!" А это называется: не только что около своего носа... да с другого и требовать нельзя: жизнь жестокая, осатанеешь! А как написано! Я и помянул-то протопопа "всея России" к слову о его "Слове". Ведь его "вяканье" - "русский природный лад" - и ваш "розановский стиль" одного кореня. Во дни протопопа этот простой "русский природный язык" (со

своими оборотами, со своим синтаксисом "сказа") в противоположность высокой книжно-письменной речи "книжников и фарисеев" в насмешку, конечно, и презрительно называли "вяканье" (так про собак: лает, вякает), как ваше "розановское" зовется и поныне в академических кругах "юродством". А кроме вас, от того же самого кореня, Иван Осипов (Ванька Каин) и Лесков - про Лескова или ничего не говорили (это называется в литературном мире "замораживать"),или выхватывали отдельные чудные слова вроде: "жены-переносицы","мыльнопыльный завод", и само собой, в смех, но и не без удовольствия, а самый-то склад лесковский, родной и вам, и Осипову, и Аввакуму - да просто за смехом не вникали. В русской литературе книжное церковно-славянское перехлестнулось книжным же европейским и выпихнулось литературной "классической" речью: Карамзин, пушкинская проза, Тургенев (ведь и думали-то они по-французски!), и рядом с европейским - с "классическим" - "русский природный": Аввакум, Осипов, Лесков, Розанов. И у вас тоже есть - ваша книга "О понимании": вы тоже могли и умели выражаться по-книжному, как заправский книжник и фарисей, и очень ценили эту книгу, и Аввакум щеголял Дионисием Ареопагитом и легендарным римским папою Фармосом латинского летописца (знай наших!). Но в последние годы вашей жизни на на этой чудеснейшей земле то, что "розановский стиль" - это самое "юродство" - это и есть настоящее, идет прямой дорогой от "вяканья" Аввакума из самой глуби русской земли. Вы это знали ли? (Аввакум проговорился: "люблю свой русский природный язык", Лесков, должно быть, не сознавал, иначе не умалялся бы так перед Львом Толстым!) Помните, в Гатчине, как мы у вас на даче-то ночевали, вы с сокрушением говорили, что рассказов вы писать не можете, - "не выходит",а вам хотелось,как у Горького или у Чехова - у аккуратнейшего "без сучка и задоринки" Чехова, которым упиваются сейчас англичане, а это что-нибудь да значит! и у Горького, который "махал помелом" по литературным образцам. Василий

Васильевич, да ведь они совсем по-другому и фразу-то складывали - ведь и в "вяканье" и в "юродстве" свой синтаксис, свое расположение слов, да как же вы хотели по их, эка! Розанов - форму чеховского рассказа! - да никак не уложишь и *не надо*. Их синтаксис - "письменный","грамматический",а ваш и Аввакума - "живой", "изустный", "мимический". Теперь начали это изучать, докапываться в России - там книжники и вся казна наша книжная! Но и среди русских за границей есть та же дума: в Америке - Роман Якобсон, в Страсбурге Б. Г. Унбегаун, а в этой самой Англии Д. Святополк-Мирский - да,да,сын Петра Дмитриевича, еще "весной"-то прозвали,благодаря ему нам разрешение вышло в Петербург до срока переехать, и с вами тогда познакомились! -- А книг ваших,Василий Васильевич,не видно: переиздали "Легенду о великом инквизиторе", изд. Разум, Берлин, 1924, стр. 266. А мне попалось тут единственное, что по-французски переведено: Vassili Rosanof, "L'Eglise russe". Traduit avec l'autorisation de l'auteur par H. Limont-Saint-Jean et Denis Roche. Paris. Jouve et Cie Editeur, 1912 - p. 42. От ваших переводчиков получил. А в России - не в поре: "борьба на духовном фронте", и попади вы в эту категорию "мистическую", ну вас и изъяли - а уж про издание и говорить нечего. Только, думаю, этим немного возьмешь. "Запрещенный-то плод сладок" - тянет. По себе сужу, уж что ни сделал бы, а книжку достал и всю б ее от доски до доски -- Василий Васильевич, какой собрался богатый матерьял в мире всяких глупостей и глубокомысленнейших,ну и несчастных! Война! - до сих пор не расхлебали. Конечно, во всем Божий промысел и дело не-человеческое - и "надо всему было быть, как было!" (Аввакум прав!), и не без "обновления жизни" такие встряски! но и правду сказать, и человек, "действующий элемент", постарался - поду-ровали! А теперь смотрите: и беды не оберешься, и от беды не схоронишься -

- "Эй, дурачье, дурачье!"

А живи вы тут - от сумы да от тюрьмы не зарекайся! - кто ж его знает, "борьба на духовном фронте!" - и угодили б вы сюда с Бердяевым и Шестовым и были б мы опять соседями.

И скажу вам, и из здешней "зарубежной русской жизни" был бы вам матерьял. Когда-то вы писали,что "заработал на полемике с каким-то дураком 300 рублей", ну, 300 не рублей,а франков - ручаюсь! - было бы вам к Пасхе. Дождались мы Пасхи - а сколько было за зиму и болезни, и всего! - и там в России! Хотите, я вам расскажу старый один советский анекдот про Пасху? Больно он из всех мне запомнился, а вам, знаю, будет интересно -

....

Действующее лицо: батюшка из тех, кого вы ни к Чернышевскому, ни к Добролюбову не относите, нет, другой породы - незатейливой ("извините, с яйцами"),все эти попы Иваны и отцы Николаи,у которых одно лицо безвозрастное с бороденкой, и ходят они как-то, плечо опущено, и говорить "неспособны", а проповедь читает, бывало, по епархиальному листку,как поминанье, без запятых и точек, сплошь "уставом". Так вот, на Пасху в Москве у Гужона - рельсопрокатный завод (с детства помню, по вечерам из окна видно: полыхает зарево - Гужон - московская Бельгия) - устроили собрание с антирелигиозными целями от какой-то безбожной ячейки. Собралось народу видимо-невидимо - сколько одних рабочих на заводе! - тысячи. А выступал докладчиком сам нарком А. В. Луначарский. А видите ли, слыхал я ораторов: Федор Степун (во Фрейбурге под Дрезденом сидит), не переслушаешь, или Виктор Шкловский (в Москве), такой отбрыкливый, ничем не подцепишь, а Луначарский - тот (собственными ушами слышал и не раз!) прямо рекой льется. И по окончании речи (часа два) выносится единогласно через поднятие рук резолюция,что ни Бога, ни Светло-Христова Воскресения нет и быть не может, пережиток. И тут же на собрании этот самый поп Иван ныряет: в оппоненты записался. "Да куда, говорят, тебе, отец, нешто против наркома? да и умо-

рились канителиться". А ему - и Бог его знает, с чего это пристукнуло! - одно только слово просит. Ну, и пустили: "Слово гражданину Ивану Финикову". И вылезает - ну, ей Богу, ваш! Ваш, бессловесный, самый русский природный, без которого круг жизни не скружится, а чего-то стесняющийся, плечо на бок - "Христос Воскрес!" - и поклонился, так полагается на Пасхе, приветствие, как здравствуйте, трижды: "Христос Воскрес!" - "Воистину!" - загудело в подхват собрание, все тысячи, битком набитый завод, Гужон с полыхающим вечерним заревом красных труб, московская Бельгия, - "Воистину воскрес!"

Горький

ТРИ ПИСЬМА ГОРЬКОГО

При имени "человек" "меня всегда волнует движение человеческого сердца - та душевная сила, выражаемая словами: "чужая вина" и "тайная милостыня".

Это два света, которыми озарена суровая история человечества; без этого света было б холодно, а имя "человек" звучало бы не громче:

- человек человеку бревно -

1

Взять на душу грех другого человека и нести наказание, как за свое, - "о "чужой вине", я в детстве из сказок вычитал. И задумался. И еще узнал я из сказок же, что "в мире ходит грех". А стало быть, так сказалось у меня, закон человеческой жизни "преступление",и всегда кто-то "виноватый", - и вот я, человек, смею и нарушу этот закон жизни,поверну суть жизни: я, ни в чем не виноватый, добровольно беру на себя чужую вину.

От одной этой мысли в моих глазах сыпятся искры.

Как мне хотелось посмотреть на такого человека, - где-то да есть такие, иначе не сказалась бы сказка. Сам я представлялся и не раз в пустяках вольным "грешником", но меня уличали - "врет все", и никто мне не верил и не наказывали.

Так оно и прошло бы сказкой, и вдруг,не думая, я увидел такого человека.

В его глазах горела решительная мука,а говорил он твердо, но под каждым его словом тлелась искра. Он признался в убийстве и рассказывал, как все он

это сделал этими руками. И когда он подымал руки - моим глазам они светили.

На минуту судьи усомнились, и у всех прошло: да правда ли это? Но в конце концов поверили: так убедительно и горячо было его признание. И присудили его на каторгу - бессрочно. И разошлись из суда, удовлетворены приговором - со временем выяснится, где правда (пензенское дело о убийстве Лызловой).

Но я, по какому-то своему чувству, меня заполнившему, не поверил и по моей вере в "я смею" унес образ человека, на лице которого с восторгом читаю: "беру на себя чужую вину и отмучаюсь". Для меня незабываемое, и никакие пожары не истребят этот, осветивший мне жизнь, образ человека.

2

"Тайная милостыня" - она не жжет блеском "чужой вины": тихим светом светя, сопровождает путь человека.

И когда читаешь о тайной милостыне или услышишь, сердце радуется. В свете милосердия для моих глаз весь мир открыт, - благословляя жизнь, не отворачиваюсь, до конца пронесу свой богатый дар - мое горькое счастье.

* * *

Я читаю житие Иулиании Лазаревской, написано вскоре после ее смерти (1604 г.) сыном ее, муромским бояриноm Калистратом Осорьиным.

С детства не лакома и не обжора,а случился голодный год, подавай ей на завтрак и на обед и чтобы на ужин было вдоволь.

"Как ты свой нрав перемени? Егда бы у Христа Бога изобилие, тогда не могох тя к раннему и полуденному ядению понудити, а ныне егда оскудение пищи, и ты раннее и полуденное ядение взимаеши?" - спрашивает свекровь.

И она отвечает:

"Егда не родих дети,не хотяши ми ся ясти и егда начах дети родити, обезсилехи не могу не ясти, не точию в день, но и нощею многажицею хощу ми ся ясти, но срамлюся тебе просити".

И все эти слова Иулиании только одна хитрость: все, что ей принесут, а ей ни в чем не откажут,себе она ничего, а все "нищим и гладным даяше".

* * *

Рассказывают о Николае Ивановиче Новикове (1744-1816), что в Отечественную войну 12-го года он принимал у себя в смоленской деревне голодных, раненых и обмерзлых французов.

Суровое "справедливое" и черствое сердце за это его осудило. Новиков! с этим именем нераздельно "русская культура", а тихий свет милосердия увенчал память о человеке.

* * *

Карамзин (1766-1826) и Жуковский (1783-1852) - только после смерти обнаружилось о их тайной милостыне, а при жизни никому в голову не приходило: оба вознесенные к власти, придворные, куда им там!

О Карамзине и Жуковском читаю у А. В. Дружинина в отзыве на книгу Е. Я. Колбасина "Ив. Ив. Мартынов".

Иван Иван Мартынов (1771-1833),сотрудник Сперанского, известен как собиратель народных названий для растений и цветов, современник Карамзина и Жуковского, Дружинин отмечает общую черту их: милосердие - тайная милостыня.

Да таким был и сам Дружинин (1824-1864), основатель Литературного Фонда русских писателей без различия направлений. Таким был и Елисей Яковлевич Колбасин, написавший книгу о незаслуженно забытых в истории литературы - о Мартынове и Н. Ив. Курганове (1726-1796).

* * *

И вот от Иулиании к Новикову - Карамзин,Жуковский, Мартынов, Дружинин, Колбасин - путь чист - Алексей Максимович Горький.

В жестокие годы русской жизни, когда на Взвихрённой Руси творился суд непосужаемый, в революцию 1917-1920, самым громким именем - я свидетель того времени - назову

Алексей Максимович
Горький.

Сколько было сохранено жизни - "имена Один Ты вѣси!" - как в синодиках Грозного пишет о загубленных жизнях.

Сколько раз в эти годы обращались ко мне,потому что извéстно, я писатель, а значит, свой Горькому, похлопотать перед Горьким: последняя минута - единственная надежда - спасти от смерти.

Я не знал ни тех, кто просит, ни тех, за кого просили. И всякий раз пишу одно и то же: Алексей Максимович, умоляют спасти. И адрес.

А потом ко мне придут благодарить за Горького. Я видел убитых горем и не узнавал: какое счастье сияло в обрадованных глазах - спас!

Ни моих клочков, на которых я писал Горькому письма, бумаги не было, такое не хранится, а "спас жизнь" - да и такое забудется. Но я не забыл.

Из русских писателей Горький выделял Лескова, особенно "Соборян". И я понимаю - Лесков и Горький сродни - и как же было Горькому поступать по-другому - не спасти человека? - если в его сердце отзвучало слово:

"Умножь и возрасти, Боже, благая на земли на всякую долю: на хотящего, просящего, на производящего и неблагодарного..."Я никогда не встречал такой молитвы в печатной книге. Боже мой, Боже мой! этот старик садил на долю вора и за него молился! Это, может быть, гражданской критикой не очищается, но это ужасно трогает. О, моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!

3

Обезьянья Великая и Вольная Палата (Обезвелвопал) отметила юбилейный день Горького высшей наградой, какая только есть в свободном обезьяньем царстве: Горькому поднесена царская жалованная грамота за собственнохвостной подписью обезьяньего царя Асыки в знак возведения его в князья обезьяньи.

Под грамотой подпись обезьяньих князей: И. А. Рязановский, Н. В. Зарецкий,П. Е. Щеголев,М. М. Пришвин, Вяч. Я. Шишков, А. Н. Толстой, князь-епископ Замутий (Е. И. Замятин). И старейшины - митрофорные кавалеры обезьяньего знака: Анатолий Федорович Кони, Василий Васильевич Розанов, Лев Исакович Шестов, Михаил Осипович Гершензон, Петр Петрович Сувчинский.

Принял Горький свой обезьяний княжеский титул, как дети играют. Затея Обезьяньей Палаты вышла не из "всещутейшого" Петровского безобразия, а из детской игры. Горький искренне поверил. Он держал в обеих "лапах" мою нарядную грамоту и удивлялся: "Князь! - обезьяний князь, да в роду Пешковых о таком и мечтать не могли!"

* * *

Я, "бывший" канцелярист (по старине диак),грамоту скрепил и деньги сахаром получил.

4

Старшее поколение писателей: Короленко, Горький, Леонид Андреев, Бунин, Куприн, Серафимович и другие прославленные относились к моему отрицательно.

В толстые журналы меня не пускали: ни в "Мир Божий", ни в "Вестник Европы", ни в "Русское Богатство", ни в "Журнал для Всех" В. С. Миролюбова, исключением была "Русская Мысль", куда мне удалось временно проткнуться,когда соредактором П. Б. Струве сделался Семен Владимирович Лурье (1867-1927). И в московские сборники (Телешов) меня не принима-

ли,и в Горьковское "Знание" я никак не мог попасть. То же и в газетах: хорошо если на Пасху пройдет в "Речи" через Давида Абрамовича Левина: П. Н. Милюков отмахивался: "о чертях пишет".

В те времена в литературной критике ходовое слово, и решающее ценность произведения,было "психопат", как потом пойдет "нарочито и претенциозно". Я, конечно, попадал в "психопаты". Но было и еще: "юродство". И тут я шел с В. В. Розановым: "юродство" Розанова - за его гениальные "двойные мысли", а у меня, не находя ни "прямых", ни "двойных",юродство видели в словах и оборотах - в русских словах и в русских оборотах.

Одни посмеивались добродушно, другие с раздражением.

Короленко сравнивал меня - видел он в Нижнем на ярмарке: в руках на прутике нанизаны петли,гвоздики, железки, идет, погремушкой позвякивает и сам чему-то радуется.

Горький нетерпеливо: "Библией мух бьете"!

* * *

И кажется, что было Горькому до меня - лучше быть неизвестным! - в его дом "Знание", как я ни напрашивался, меня не пускали.

И вот я попал в беду, к кому же мне обратиться?

И как о неизвестных когда-то, теперь пишу Горькому о себе. О себе писать, про это все знают, как это легко, тем более...

Единственный экземпляр, рукопись "Плачужная канава", пропала. Взялся ее перевезти за границу один добрый человек, на границе обыск, а вез он драгоценности, и моя рукопись у него под жемчугами,жемчуг забрали, а с жемчугом и рукопись прощайте.

Прошу Горького похлопотать.

И не знаю, как выражаться: для меня "Плачужная канава" представляла тогда ценность, с какой болью

писал я ее,а ведь эта моя боль,сказавшаяся словом, для Горького:"Библией мух бью".

Скажу наперед: больше году ждал, ночью проснусь, и о рукописи. И как спасал когда-то Горький неизвестных, спас он и рукопись, которую не мог одобрить: мне ее вернули из Москвы - мою жемчужную "Канаву".

5

Berlin.Herrn Alexeï Remizov, Charlottenburg 1, Kirchstr. 2II bei Delian.

9. II. 1922

I

Дорогой Алексей Михайлович!

Если я напишу Менжинскому о Ваших рукописях, а они - на грех - окажутся у него,и он их съест. Да, да, - сожрет, ибо таковы взаимные наши отношения.

Но я думаю, что рукописи не у него, а у Леонида Старка в Ревеле, - я что-то смутно слышал об этой истории с Вашими рукописями и о Ревеле.

Так вот что: отнесите прилагаемое письмо Ивану Павловичу Ладыжникову и попросите его отослать оное в Ревель Леон. Никол. Старку.

Этот Старк когда-то пробовал писать стихи и был - а надеюсь и остается - искренним Вашим поклонником.

В Ревеле он - дипломат: представитель Сов. России. И, конечно, имеет прямое отношение к Ос. Отделу.

Так-то. Будьте здоровы!

А. Пешков.

на обороте:

Адрес Ладыжникова знает Гржебин, я забыл.

А. П.

II

22. II. 1922

Дорогой Алексей Михайлович!

Сейчас получил письмо Пильняка, подписанное и Вами и А. Белым.

Видеть Вас - было бы крайне приятно, но - ехать сюда я Вам решительно не советую, ибо остановиться здесь - негде. Гостиниц - нет, кургауз так забит, что больные живут в вестибюле. В санатории, где живу я, - 110 мест, а лечится в ней 367 душ. Есть немало больных, которые и день и ночь проводят на воздухе, в лесу, в эдаких галерейках, там они лежат, засунутые в меховые мешки.

Здесь - скучно, вот все, что можно сказать о St. Blosien'е. Недели через две я возвращаюсь в Берлин, и тогда мы увидимся. Передайте мой привет Белому и Пильняку.

Крепко жму Вашу руку, сердечно желаю Вам всего доброго.

Вас уже тянет в Россию?

Были Вы в "Музее Фридриха"? Если нет - сходите, там есть изумительный Брейгель.

А. Пешков

[*Питер Брейгель старший* (*1525-1569*)].

III

4. IX. 1922

Дорогой Алексей Михайлович!

Будьте добры отправить рукопись Вашу в редакцию "Беседы", она тотчас же будет сдана в набор.

Как живете? Говорят, в Берлине плохо, тревожно, дорого и нездорово.

Ехали бы Вы куда-нибудь сюда, на юг. Здесь тихо. И немец мягче.

Привет сердечный,

А. Пешков

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ПЕШКОВ – МАКСИМ ГОРЬКИЙ
(1868-1936)

Горького стал знать с его первых книг в годы моей пензенской ссылки - 1898. Его рассказы были мне, как весенний ветер,и это ничего не значит,что я зачеркиваю и перечеркиваю страницы, я говорю о моем чувстве.

Познакомился в Петербурге - 3 января 1906 года - и записал в дневнике общими словами: "какой умный и сердечный человек". Я хотел сказать, что с таким можно говорить и разговориться - слова не завязнут и отзвучат. Это с дураком: я ему про Фому,а в ответ мне про Ерему. И что не сухарь,которому не свое, как стене горох; мне показалось, что и говорит он с болью.

Встречался в революцию (1917-1920) в Петербурге и в 1923 году в Берлине. Бывал у него на Кронверкском проспекте и во "Всемирной литературе".

Во "Всемирной литературе" я значился как сотрудник, но на собрания не допускался. А перед собраниями, когда собираются, Горький никогда не опаздывал, и можно было о чем-нибудь спросить,о житейском - время было опасное, или просто посидеть и послушать.

Горький хорошо знал историю русской литературы, а меня хлебом не корми, люблю свое ремесло. Говорил Горький не спусту и прислушивался. Прощался я с ним всегда очарованный.

Храню память: письма Горького. Немного их,и ни одного оригинала.

Письмо из Арзамаса в Вологду на имя Б. В. Савинкова, 1902 г. Отзыв Горького о наших рассказах; рукописи передала ему Л. О. Дан (Цедербаум). Горький советует нам (Савинкову и мне) заняться любым

ремеслом, только не литературным: "литература дело ответственное".

И все-таки "хлам" отослал он в Москву Леониду Андрееву. И наши забракованные рассказы появились в праздничном "Курьере": 8 сентября 1902 года на Рождество Богородицы - моя Эпиталама (Плач девушки перед замужеством), а на Введение, 21 ноября - мой рассказ "Бебка".

И я могу сказать, что совсем недвусмысленным боком ввели меня в русскую литературу: Горький,Леонид Андреев и Лидия Осиповна Дан.

Это вступительное письмо Горького хранилось у Бориса Викторовича Савинкова. Подробности в моей книге "Иверень" (1887-1903) - не издана.

Еще три письма Горького - 1902-1907: о моем "В плену" и о "Пруде". Письма напечатаны в России в 1933 году без моих комментариев под общим редакционным: "как Горький своевременно шуганул Ремизова". А взяты письма из моего многотомного рукописного архива (1902-1920), хранился в Гос. Публичной Библиотеке имени Салтыкова-Щедрина.

Есть и фотографическая карточка-группа: Горький, Пинкевич, Алексей Толстой,Роде и я. Снимались в Берлине весной 1923 года у Вертхейма.

Когда стали распределяться перед фотографом,Роде сказал: "Я не смею сесть с Алексеем Максимовичем, я лучше с Ремизовым постою".

Горький, из уважения к ученым, сидит с Пинкевичем, к ним наотмашь плюхнулся Алексей Толстой; а я с Роде поверх голов; при желании нас легко срезать и безо всякого урону: Горький, Пинкевич,Алексей Толстой.

Амалий Сергеевич Роде († 1930), а как его по-настоящему, не помню, из Минска, прошел через тиски и перешвырь, но сохранил природное добродушие и сердечную чувствительность; одаренный ("талантливый человек, говорил о нем Горький с восхищением, на балалайке играет!"),добрался до Петербурга и,не имея прав жительства, обратясь во французского Амалия Роде, открыл на Каменноостровском "Виллу Роде",

прогремевшую в канун революций Распутиным и цыганами. В революцию кабак разнесли, клиенты - кто успел за границу, остался болтаться на свете,а кто не успел, простились с белым светом, и души их понеслись под стон-эс-гиттарарары тянуть неутолимую бесконечность печальных тунеядцев. А хозяин "Виллы Роде" - в чем застигло, все на нем и имущество: все мы были неказистые,и его не отличить от нас. Устроился он через Горького в Мраморном дворце заведующим столовой в ТЕО (Театральный отдел). Тут мы и познакомились и с первых же слов, ровно 6 годами знали друг друга или, вернее, где-то в каких-то канавах прятались, или оттого, что мне так понятна человеческая затурканность. И всегда он мне в мою голодную порцию косточку подложит или какое "гранатное" яблоко на десерт после очертеневшей пшенной каши перед всеми поднесет мне и Блоку - "чтобы сделать удовольствие Ольге Давыдовне" (О. Д. Каменева, сестра Троцкого, начальница ТЕО). А скажу, что и без всякого "удовольствия" не раз в мой протабачный карман тайком кусковый сахар подкладывал: жили мы до "ученых пайков" Горького отчаянно.

По дороге к Вертхейму сниматься Роде мне сообщил новость: в Париже в самом шикарном русском ресторане "Russian Eagle", 30, rue du 4 Septembre,кухня под управлением *Ремизова*,шеф кухни русского Императорского двора.

На фотографии, стоя на высотах, я представился "шефом Императорского двора" и спрашиваю Роде:

"Амалий Сергеевич, а ведовская волшебная каша... как варить с перьцем - с - ядьды?"

Карточка получилась живописная: и Горький, и Пинкевич, и Толстой во всей личности,но живее всех наше: "с перьцем - с - ядьды". А стоила карточка много тысяч миллиардов. Выкупил П. П. Крючков: посмотреть в руки дал, а на руки не выдал.

П. П. Крючкова знаю с 1920 года. Я состоял при М. Ф. Андреевой, начальница ПТО (Петербургское Театральное Отделение), а Крючков под Марьей Федоровной, управдел ПТО. М. Ф. Андреева одна из "Сестер"

Чехова,с ней легко и театрально, а Крючков из "Горя от ума", этот застыпая себе-на-уме, всего наобещает, а ничего не сорвешь, не выжмешь,заканителит. Единственный способ, я присмотрелся: подкараулить, когда идет к нам наверх в уборную, тут его и перенять - любую бумагу не читая подпишет. Но Берлин не дом Юсупова на Литейном, - где подкараулишь? Так карточки нам и не дал. Думаю, уничтожил.

К В. С. Миролюбову в "Журнал для Всех", как я ни колотился, а пробиться не удалось: на моей рукописи неизменно одно и то же "В", что означало "к возврату".

Виктор Сергеевич певец, в молодости в Киеве выходил на сцену Демоном и Онегиным, человек благодушный, потеряв терпение, велел через секретаря Е. Г. Лундберга передать мне дружески: "присыл рукописей прекратить".

А к Горькому стена,куда к Миролюбову. И все-таки я влез - вижу победу моего терпения! - Горький, *не читая,* принял мою рукопись, и в его "Беседе", Берлин, 1923, кн. 3, появился мой "Парижский клад" ("Россия в письменах", т. II - не издано).

В Париже, до России, из Сорренто Горький присылал мне сборник сказок - узнаю его почерк на бандероли - а, стало быть, не забыл мое самое любимое: сказку. Конечно, тут не без Сувчинского и Д. П. Святополка-Мирского, верные друзья - они видались с Горьким в Сорренто и переписывались. Или вспоминал, как однажды мне рассказывал свою сказку: "И у меня когда-то жил ежишко... хороший".

1950

алексей максимович горький
1868-1936

Так мне и не пришлось... говорили, Горький приедет в Париж, ждал его: кто знает, может быть, в последний раз и навсегда - а хотелось сказать. И вот все кончено. А закончилось под музыку Сен-Санса на Красной площади в Москве - новая версия "Ступеней человеческого века". А за эти годы приходила и невольно и такая мысль, и не мог я заглушить ее: читаю в газетах: "пропал Горький" - а это значит: да вспомнил своего Лунева из "Троих" - не надо и проклятий! - и вышел безвестным странником на широкую русскую землю в свой последний путь.

* * *

Тридцать лет нашей первой встрече, а эти тридцать лет для меня, как один день, и живо, как бывшее вчера - мое чувство через тридцатилетний день осталось неизменно.

Не знаю, кого еще назвать, разве Блока, о ком так памятно - встреча с Горьким: тот внимательный взгляд, его чувствую я в человеке, по близорукости не различая глаз, и та улыбка - как будто сконфуженного (у Блока - виноватая), а это и есть то самое, что создает поле доверчивости - открывает свободу, при которой только и можно говорить с человеком по-человечески без зâсти лукавства "двойных" задних мыслей.

А стал знать я Горького с его первых книг еще в годы моей юности.

Меня поразил его необычайный голос: в тихое Чехова вдруг ворвалась "пространственная" медь Вареза.*

---

*Edgar Varèse, автор Integrales (*прим. автора.*)

И если Чехова читали с упоением - есть ведь такое человеческое: повторить словами книг о своем пропаде, и даже не пропадном, а только воображаемом, Горького читали с восторгом, да, восторженно, и пропащие и пропадающие, повторяя - "все в человеке, все для человека".

Горький ученик Толстого.

От Толстого, давшего миру из своей величайшей веры в человека последнюю чудесную сказку "Хозяин и работник" - о свете человеческом, нечеловечески светящемся в человеке, идет отсветом мысль Горького. Горький продолжает *миф о человеке* со всей ожесточенностью задавленного, воссилившегося подняться во весь рост человека.

Горьковский миф - не "сверхчеловек - бестия", давящий и попирающий, а человек со всей скрытой в нем силой творчества, человек, за что-то и почему-то обреченный на погибель, а в лучшем случае на мещанское прозябание по образцу "Ступеней человеческого века".

Суть очарования Горького именно в том, что в круге бестий, бесчеловечья и подчеловечья заговорил он голосом громким и в новых образах о самом нужном для человеческой жизни - о достоинстве человека.

Горький - мифотворец.

Место его в русской литературе на виду.

Не Гоголь с его сверхволшебством, не Достоевский с его сверхсознанием, не Толстой с его сверхверой, явление мировое, необычайное; и не Салтыков, не Гончаров, не Тургенев - создатели русского "классического" книжного стиля, Горький по трепетности слова идет в ряду с Чеховым, который своей тихой горечью не менее нужен для человеческой жизни, как и горьковское гордое сознание человека,без чего дышать нечем.

Слово у Горького - от всего бунтующего сердца, слог звучит крепостью слов, стиль: читать Горького можно только громко "во всеуслышанье", но петь Го-

голем - Горький не запоется,как и не зазвучит Толстовским бтчитом.

Горький никогда не расставался с книгой. Первый известный его портрет: Горький над книгой. И издательство Горького - "Знание"; а во всех его предисловиях к чужим книгам всегда чувствуется радость человека, напавшего на откровение. И "Всемирная литература" - затея Горького. А имена ученых, великих писателей и художников звучали у него так, будто, произнося, подымался он с места.

Огромным чутьем возмещалось у Горького отсутствие литературных "ключей" и дисциплины. Но там, где была хоть какая-нибудь сложность, Горький закрывал глаза и не слышал.

Достоевский своим "страданием" оттолкнул его. И иначе не могло быть: мятеж Достоевского разлагал миф о гордом "деятельном" (т. е. тупом и ограниченном, по Достоевскому) человеке - миф, вышедший из непонятных, ненужных *страданий* за что-то и почему-то задавленного и вот взбунтовавшегося человека.

Горький никогда и не пытался понять Достоевского, как не понял Толстого с его "непротивлением", вышедшим из веры в человека. А ведь это "страдание",по Достоевскому,может быть,единственное оправдание, единственный свет жизни человеческой безобразной, бессмысленной, складывающейся нелепо в самой сути жизни,благодаря каким-то "ошибкам" *там* -- за которые человек никак не ответствен , а жить-то надо как-то,не становиться же в самом деле на четвереньки при "Эммануиле-то Канте,великом кенингсбергском философе", как почтительно выражался Горький, и при "Вильяме Шекспире", востря глаза - в лес, не начинать же сызнова историю, начавшуюся гориллой, человеку, страданием достигшему сознания "я есмь" и тем самым переступившему "человека" с его "болью" и "страхом".

Мне навсегда останется гениальное« воплощение Лифарем "Икара" - в веках из веков сложенного мифа о человеческом полете - об этом подлинно "безумстве храбрых". Я видел живого летающего Икара! - слы-

шу древний голос о грани человеческой силы - "смирись, гордый человек!" - и чувствую всю обжигающую скорбь сброшенного с недосягаемых "зодиакальных" высот гордого человека, свернувшегося без крыл жалким зайчонком.

Этот древний, роковой для человека миф, как и самосознающий человек Достоевского, затеняет горьковский *бунт* - миф без всякого "туда", а "тут" - миф о человеке, выдирающемся из пропада: ведь все равно надо лететь, и без оглядки, иначе дух вон.

Оттолкнул Горького и Джойс, и Пруст, вся сложность словесного искусства. - Какой еще Джойс: мысле-чувство-словные процессы в яви и сновидении; какой там Пруст: изглубленная память или долгий взгляд в пропастную память! - человеку жрать нечего, и жизнь его скотская, а слово - рваная плюхающая калоша, а мир - незатейливый дурацкий фильм.

Но это же самое чутье привело Горького к Лескову, по складу чувств, слова и мысли самоцветному отпрыску протопопа Аввакума, родоначальнику русской "природной" речи; Горький открыл забытого Слепцова, предшественника Чехова, чутьем оценив его словесное мастерство и теплоту человеческих чувств. А из современников выделил Пришвина - Михаила Михайловича Пришвина, русского Киплинга, мастера на зверя, лес и поле; постигшего звериную тайну, со слухом к свисту птиц и дыханию трав.

....

Алексей Максимыч, вы стали судьбой в моей жизни, вы, при всем вашем отталкновении от моего мира снов, вы разгадали вашим чутьем мою любовь к слову, и я обязан вам моим первым выступлением в литературе.

И разве я это могу забыть?

Алексей Максимыч - в последний путь: вспоминаю вас - вы знали бедность, унижение и отчаяние... вспоминаю наши редкие встречи и очарование, какое легло мне на сердце. Прощайте!

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ВЯЧЕСЛАВ МЕНЖИНСКИЙ

Начальник ВЧК. Выступил в литературе в 1904 г. в "Зеленом сборнике": М. А. Кузмин, Ю. Н. Верховский - стихи, а Менжинский - проза. А.А. Блок в рецензии выделил Менжинского. Но за годы 1905-1917 я не встречал его имени в литературе. И не знаю, чем объяснить: его рассказ в "Зеленом сборнике" не похож на тогдашнюю беллетристику, было свое. А стал известен как помощник Дзержинского, а потом и сам начальник ВЧК.

2. ИВАН ПАВЛОВИЧ ЛАДЫЖНИКОВ

Издатель. Управляющий издательством "Знание". Дел у меня с ним никаких не было, а стало быть, и разговору. Осталось в памяти: "конфуз".

В контору вошел Горький и удивленно: "Что с вами?" - "Холера", - сказал Ладыжников, и все в нем вдруг подтянулось. - "Да как же это вы так, Иван Павлович, неосмотрительно?" - А тот и не знает,что отвечать, и как пойманный виновато заморгал. Я отошел.

3. ЗИНОВИЙ ИСАЕВИЧ ГРЖЕБИН (1877-1927)

Издатель. Сосед и кум. В Петербурге на Таврической в доме Хренова жили по одной лестнице и деньги занимали друг у друга на перехватку. В войну 1914 года ходил заурядкнязем обезьяньим. Я крестил его детей: Буду и Капочку и Капочкина сына Андрея. Все состояли в обезьянах.

4. БОРИС АНДРЕЕВИЧ ПИЛЬНЯК
(ВОГАУ) - (1894-1933)

Мой ученик. В Берлине в 1922 году, не покладая рук, отделывал свои рассказы под моим глазом. Я отучал его от школьной грамматики, научил встряхивать фразу, переводя с искусственно-книжного на живую речь; перевертывать слова и разлагать слова - перевертывать, чтобы выделить и подчеркнуть; разлагать - слова излучаются и иззвучиваются. Отвадка от глагольных и ассонансов: в прозе от них месиво, как гугня в произношении. О "щах" и "вшах" ничего тогда не говорил, сам сидел в них по уши.

5. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ -
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ БУГАЕВ
(1880-1934)

Гениальный,единственный,весь растерзанный: между антропософией, Заратустрой и Гоголем. Синие дремучие глаза (портрет Бакста).

6. ФЕДОР ЕВДОКИМОВИЧ МАХИН

Полковник Махин,а в эту войну партизанский генерал-лейтенант. Редактор Русского Архива и председатель Белградского Земгора. Оренбургский казак, старообрядец, хорошо читал Библию на голос. В Обезьяньей палате состоял воеводой. Ему я продал за двести франков в 1937 году оригиналы писем для архива Земгора.

1950 г.

Париж

Шаляпин

ШАЛЯПИН

Горький посвятил Шаляпину "Исповедь". Это не "Песня о соколе", не "Буревестник", литература словесной трескотни, оправдываемая лишь добрым желанием "выпрямить" человека, "который - все и для которого - все". Именем Шаляпина освещено другое: русская повесть - самое напевное и самое трепетное, вечернее Горького. В слове "Исповеди", прочитанном про себя, слышу голос Шаляпина.

Гоголю в звуках песни слышалась горечь.

Стократная горечь раскованного человеческого сердца закипала в голосе Шаляпина. Шаляпин и есть этот человек, "который все и для которого все".

И куда деваться человеку в непроглядный час под дубьем бед и напастей, толкающих и торчащих? И как быть человеку: злая память его безысходна, а мир - сквозь злые слезы? Этого никогда не поймет очерствелое сердце, а выразит не слово, а песня.

И разве могу забыть я те единственные мгновения, когда я слушал - весь слух - пение Шаляпина; в его голосе мне было больше моего, он пел о всем человеке.

* * *

Чтобы околдовать душу, не надо говорить, надо петь: музыка! ее это чары. И есть магия слов... но как часто трепет слова заглушается звуком: пожалуй, вернее читать глазами, не выговаривая вслух, - да так ведь и вошли в нашу неизбывную память Пушкин и Лермонтов, не школьным и эстрадным фальшивым чтением, нарушающим ритм - душу стиха.

Слова колдуют, как песня. Но чтобы околдовать душу - чтобы бросить пламя слова, надо голос со всей напоенностью и переливом звуков: музыка! - музыка, это поддонное дыхание, тоньше слова и нежнее мысли.

Никогда еще не было, и не запомнят,и только в сказках очарований такое яркое воплощение; слово и музыка, магия слов - я назову это единственное имя:

ШАЛЯПИН

И это слово, чары слов - русские, непереводимые, как слова поэтов,- самоцветы,но светящиеся музыкой, открыты всем. Речистые, они горят, захватывают душу, выпевая русскую музыку.

Голос русской земли - *поет Шаляпин* - Россия,сказавшаяся на весь мир из глуби своего человеческого сердца словом Толстого и Достоевского.

И какой это голос поет и светит над этим дремучим простором?

Когда при ясном солнечном небе (говорю словами Дриянского) и этой нетомящей теплоте осеннего дня по темной зелени перелесков играл подсохший лист, поблескивая золотистыми искорками и цепляясь концами за жниво, кругом плавала длинная паутина, ее было столько, что издали, на припоре света,поле было как будто накрыто хрустальным ковром,даль терялась в глубоком тумане, кое-где гуляло стадо по изложинам, курился дымок, две-три бабы вертелись с граблями по жниву, да стрепета свистели крыльями, перелетывая стаями с пашни на пашню, - вот и бабье лето пришло. Спугнутая лисица прокрадывалась по болоту, как тонкий осенний листок стлалась между кочек, то поднимая свою вострую головку, то припадая к земле.

На ранней заре поднялись они. Люди начали садиться на лошадей; собаки радостно взвыли и заметались вокруг охотников. Ловчий со стаей тронулся вперед, за ним поплелась длинная фура с борзыми; доезжачие разровнялись по три в ряд. Раздался свис-

ток. Егорка поправил на себе шапку, тряхнул головой, откашлянул и залился звонким переливистым -

Эх, не одна во поле дороженька...

Еще свисток - и двадцать стройных,спетых голосов грянули разом

...пролегала.

Вскоре и эхо в лесу крикнуло нам вслед: "эх,зарастала".

Русское солнышко засветило нам с левой руки.

Да, это Россия - вижу ее осенние печальные глаза.

И когда (буду говорить словами Аполлона Григорьева) -

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли...
С детства памятный напев,
Старый друг мой - ты ли?

Когда вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган этих диких, странных, томительно странных песен, и пусть отяготело на вас самое полное разочарование, я готов прозакладывать свою голову, если вас не будет подергивать (свойство русской натуры), когда Маша станет томить вашу душу странною песнею или когда бешеный неистовый хор подхватит последние звуки чистого, звонкого,серебряного Стешина:

Ах, ты слышишь ли, разумеешь ли?

И это Россия - вижу ее полуденные, наши азиатские глаза, блестящие; в них снег сверкает на солнце в морозный день.

И когда на всенощной в Московском Соборном храме - в Успенском соборе - черные соборяне затянут в унисон темными басами, как вздохнут, столповой распев - память древних русалий и хозарской песни третью славу третьей кафизмы:

Боже, Боже мой, вонми ми,
вскую остави мя долече!

Это тоже Россия - вижу глаза ее: через тесные головы и ладан томно голубеют от Устюжского золотого образа Благовещения нестеровские - васильковые.

И никто так полно, подлинно не выразил, один Мусоргский, эту Россию полевую, лещую, кабацкую и от всенощной, русский дремучий простор, его щемящий проницательный голос и другой, кроткий,ожидающий чуда, с последней просьбой из последнего отчаяния о капле теплоты сердца. И все эти голоса сошлись в один голос - поет *Шаляпин.*

* * *

Из моей далекой, но живой московской памяти несется мне голос - моя первая встреча. В сверкающих безумных огнях Врубеля - таким открылся моим, мне колдующим глазам этот, ни на кого не похожий "вольный сын эфира", он пел о тайне Лермонтова. Его воздушный молодой - там не знают века! - с легкостью облаков плыл голос, волнуя -

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил.
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья
Им не радость, не печаль;
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты о них лишь вспомяни,
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!

Петербург. Осень. "Утро туманное..." - Тургенев - Гоголь - Павлов - Бестужев - Белинский ---

Блок, и до Волкова кладбища к Литературным мосткам - "Утро туманное, утро седое..."

Петербург. Осень. Театр "Олимпия" на Бассейной. Всякий вечер, когда представляют "Бориса Годунова", я простаиваю на райке. Галерка не на верхах, как в театре, а за ложами бенуара - по бокам, видны кулисные колеблющиеся карнизы, "альпийский пейзаж" и наряженные боярские, рыцарские и турецкие головы без лиц.

Но я все вижу, озаренный голосом Шаляпина, я вижу больше: мои глаза, как эта музыка. Вся правдашность легенды, оживая в моем сердце, и как прошлое и как грядущее, в единый миг, пламенеет обреченным судьбою человеческим сердцем - железная голова, ясные глаза на месяц, ясным голосом поет во мне:

Месяц едет.
Котенок плачет...

И всякий вечер неизменно в антракте мои глаза встречают Блока: Блок в партере.

А "Хованщину" я смотрел в Мариинском. Шаляпин всей силой речистого голоса со всей убежденностью веры подымался огненным протопопом: сам Аввакум! Я различал в его словах магию огненного слова "последней Руси":

"Таже, держав десять недель в Пафнутьеве на цепи, взяли меня паки на Москву, и в Крестовой стязався власти со мною, ввели меня в Соборный храм и стригли по переносе меня и дьякона Феодора, потом и проклинали: а я их проклинал супротив: зело было мятежно в обедню ту тут. И подержав на патриархове дворе, повезли нас ночью в Угрешу к Николе в монастырь... Виждь, слышателю: необходимая наша беда: невозможно миновать. Сего ради соблазны попущает Бог, да же разжегутся, да же убелятся, да же искусние явлении будут в вас. Выпросил у Бога светлую Россию сатона, да же очервленит ю кровию мученическою. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо - Христа ради, нашего света, пострадать!"

Голос Шаляпина жив, живет и живит. Я храню его в моем сердце, как и все, кому выпало счастье, а это было подлинное счастье слушать - и слышать и чувствовать.

Лучшую свою повесть, навеянную "Лесами и горами" Мельникова-Печерского, "Трое", Горький посвятил Шаляпину. И Блок унес этот голос к звездам на океан - на воздушный - со всей болью и своих братьев: Некрасова и Лермонтова.

Что же ты потупилась в смущеньи?
Погляди, как прежде,на меня.
Вот какой ты стала в униженьи,
В резком, неподкупном свете дня.
Я и сам ведь не такой - не прежний.
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной...

Унесли с собой голос Шаляпина и к тем же звездам сверстники Блока, два блестящих французских писателя Alain Fournier и Jacques Rivière, им выпало то же счастье: однажды в Париже они, по их признаниям, потрясены были "Борисом Годуновым" с Шаляпиным.

Унесли этот голос и другие прославленные,и те, безымянные,но из которых каждый для кого-то-нибудь в мире был единственный - за полвека сколько их перебывало на Шаляпине, выстаивая ночи в очереди за билетом,и как часто на последние! - и все к тем же звездам в звездное царство неизгладимых воспоминаний -

и звезда с звездою говорит...

А познакомил меня с Шаляпиным Дягилев на первом моем петербургском выступлении со чтением моих "сказок": рука счастливая.

И вот наша последняя встреча: Париж, прощальный концерт в Плейель с хором Афонского: стихи Некрасова - "Было двенадцать разбойников - был Кудеяр атаман" и заключительная - "Англичанин-хитрец,чтоб

работе помочь, изобрел за машиной машину - а наш русский мужик, коль работать невмочь, он затянет родную дубину, эй, дубинушка, ухнем!"

Так кончился Шаляпин - его последнее слово: наша горькая русская правда.

И если Толстой и Достоевский на последнем суде скажут поледнее слово за русскую землю,Шаляпин пропоет это последнее слово за весь русский народ.

ЦАРСКИЙ КОНЬ

Я попал в литературу по "недоразумению",с кем-то спутали,но в конце-то концов все обошлось и образовалось, пусть "подставной", пусть "походный", а все-таки писатель, и никакая не "креветка",как сам я себя однажды вообразил от неожиданности, в недоумении. Но бывают в жизни "скверные" недоразумения, как "скверные анекдоты", о которых хочется забыть,а никак не расписывать и панихиды петь в "вечную память". Такое случилось однажды с Шаляпиным, о чем я и расскажу вам не столько для развлечения, сколько в научение. Видите, я и в мораль верую,и в науку, хоть и отрицаю - от отчаяния, конечно,не от гордости.

Бывший директор консерватории,нашумевший своим "Интимным романсом", и эта трагическая история с певицей Азарьиной, Глеб Холмский-Чижов, - а какая библиотека, все театр, и память, сойдутся приятели, такой есть Гаврилов, слушать жутко, с Волкова начнут, все-то у них как в зеркале, а что бы записать, я заметил, таким легче кротов ловить. В молодости в Москве, оба мы отчаянные театралы, нас так и звали "два-сапога-пара", много всяких театров видывали и на всякие цирковые чудовища-фокусы от удовольствия рты разевывали. Признаюсь, запамятовал, но Чижов, у него не моя, не куриная, напомнил мне облетевший всю Москву случай с Шаляпиным, а это и было разыгравшееся на наших глазах "скан-

дальное недоразумение". Но нигде в истории русского театра, ни у Гернгросса-Всеволодского,ни у Вельтер-Евреинова ни одним боком оно не просовывается. А жаль - и опять же для науки.

Первое представление "Псковитянки" совпало с Валькириями, и все кони были разобраны под Вагнера. Один конь - не тронули, на покое жил, помнит и Верстовского, и Алябьева, и Пуни; конь, только его не пришпоривай, может и сто лет прожить незаметно. Этого античного коня и назначили под царя Ивана Васильевича - Шаляпина. И постарались.

"Шаляпин, - говорилось, - сам, Федор Иваныч, подкормите коня, постарайтесь!"

А "стараться" тоже, понимаете, надо с толком, чем русский человек как раз похвастаться никогда не мог: уж коли стараться, так вовсю, а что выйдет или не выйдет, не наше дело.

За три дня до представления коня кормят.

Конь сообразить ничего не может, ест без отказа. Потом вспомнил: опера "Сомнамбула": "Уж не под итальянца ли опять подсаживаться?" Но вокруг все говорят по-русски и чаще повторяется "Федор Иваныч". "Уж не меня ли это, думает конь,Федор Иваныч?" Обращение самое предупредительное, на цыпочках ходят, а уход как за царским конем.

"Да ты и есть царский конь", - кто-то говорит ему (не Шаляпин ли?) и, лапой холку пошевеливая, ласкает.

В день представления конь был готов: постарались. Конь едва передвигал ноги, но смотрит молодцом. А чем его только ни пичкали - индюку орехи полагаются,так в овес грызенных грецких орехов с пуд подбросили: коню будто в ярь! - "Молодому точно что в ярь, надо было бы сказать, а старому только желудок портить!" Да никого не нашлось. Конечно,коня окормили, и посмотрите, что произошло.

В решительную минуту Шаляпин во всем тяжелом царском одеянии с подсадкой вседлился на коня, и конь сразу почувствовал под царскими доспехами,что

это вовсе не итальянское из "Сомнамбулы", а именно тот Федор Иваныч,которым уши ему прожужжали,кормя.

Что дальше конь думал, я не сумею сказать - перед нами сразу же открылось зрелище, приковавшее все наше внимание, и дух замер: это была та минута, когда Шаляпин въехал на сцену и с коня пригнулся, уставясь на псковитянку.

Дирижер вскинул палочку, а может оттого, что Шаляпин чересчур порывисто пригнулся, конь, вопросительно поставя хвост (зверь не человек, аккуратный!) начал свою пирамидальную работу.

Все наши глаза и бинокли, не отрываясь, следили: как это производилось, - и с затаенным восхищением перед чистой работой. И у всех был один вопрос: когда - и кончится ли когда.

Наступила такая тишина,трудно себе вообразить: театр битком набит, и своих и "зайцев" довольно.

Сам Костанов со своей магической палочкой так и замер. И оркестр -- все скрипки вдруг отсмычились, а валторны и трубы отгуделись: ведь такое не только что не всякий день бывает, а в столетие однажды, да и то жди подходящий случай,чтобы "постарались".

У Шаляпина на заду глаз нет, он и не догадывается, какое за его спиной конское сооружение, Шаляпин верит в магию своих впечатлительных глаз и не сомневается, что все на него затаращились и потому такая тишина.

На сцене лишняя минута молчания - вечность. Прошло две вечности, Шаляпин не вытерпел и,отворотя рожу от псковитянки, зверски глянул Костанову в палочку.

И палочка сама замахалась.

И в ответ ей дружно ударили смычки и загудели трубы.

А конь, с удовольствием,спокойно опустя хвост, взбодрился - царский конь! - и, играя, пошел - как пошел, в молодые годы и под Сомнамбулой так не хаживал - гром аплодисментов!!!

Шаляпин ни до, ни потом - не слыхал и никогда не услышит такой взрыв восторга, как в этот памятный вечер. Только не любил он вспоминать "Псковитянку".

Дягилев

ДВОРЕЦКИЙ

1

Дягилев (1872-1929) в Петербурге искони был "идолище" - и таким остался до своего русского "интернационала": он покинул Россию для всемирной славы России.

На него смотрели: человек одаренный всеми дарами: певец, музыкант, художник, писатель. Да так он и сам о себе думал и безуспешно пробовал силу в искусствах - дикий звериный голос, слова без связи и выражения.

Гордо поднятая большая голова - седой отмёт, стоит он, левую в карман, левым - в оба, правый - вжмурь, какой живописный - пустоцвет! И тут же в сторонке - видит он или не видит - серый камушек: его нянька.

Няньку знаю по рисунку Бакста, а встречал другую - старые русские няньки - крепостное тепло - одной породы! - няньку Мережковских.

Ее на Литейном и на Песках величали за кроткое усердие и необыкновенный хозяйственный нюх "нянечка". Получить такой надзорный камушек большое счастье: не пропадешь.

Произнося "Сергей Павлович", нянька исходила всем своим стертым заботами, как перед образом ставя тоненькую свечку. Тоже и Михаил Алексеевич Кузмин - и у него со всем убеждением Символа веры: "верую" - звучало, прерываясь: "Сергей Павлович".

Катучему камушку и для крылатого александрийца слово Дягилева - суд непосужаемый.

Обездолив талантами,судьба наделила Дягилева редким *таланом*.

Талан Дягилева - суд. Судить - различать. Дягилев великий дискриминатор - "в равных различаю".

Он покажет всему миру из русской сокровищницы русские драгоценности. Дворецкий в чужих прославит свой Двор-Россию: Шаляпин, Нижинский, Лифарь. - Стравинский, Прокофьев. - Павлова, Карсавина, Спесивцева. - Бенуа,Серов, Бакст, Рерих, Головин,Лансере, Еремич, Ларионов, Гончарова.

2

Наше знакомство начинается по-дурацки: я написал Дягилеву - Дягилев мне не ответил.

Не отвечают на письма: или опытные жулики - всякий документ,и самый незначительный,улика; или незаинтересованные - на всякое чиханье не наздравствуешься; или что веруют в грамматику и стесняются своей нетвердости.

С Дягилевым никакое не путается, - так в чем же дело?

Редакция "Вопросы Жизни".

В. Ж. - толстый журнал 1905 года: благонамеренная революция, живописная эстетика прекратившегося "Мира Искусства" (Дягилева-Бенуа); критические переоценки исчезнувшего "Северного Вестника" (А.Л.Волынский); декадентские отщипки московского "Скорпиона" (В. Я. Брюсов); религиозно-философские курбеты Мережковских, наследство "Нового Пути"; стихи А. А. Блока, разжиженная пародия на монументальных "Головлевых" - роман Ф. К. Сологуба "Мелкий бес", фаллические гастроли В. В. Розанова и внутреннее обозрение - В. В. Водовозов и Г. Н. Штильман - на улице Революция! Редакторы: отставные марксисты - Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков (тогда еще не о. Сергий, а Сергей Николаевич). Издатель Д. Е. Жуковский.

Я занимаю должность ответственную, не по носу: на моих руках хозяйство - кассир, бухгалтер и сметчик.

Жуковский, усомнившийся в моих литературных способностях (в В. Ж. печатался "по знакомству" мой "Пруд"), беззаветно и самоотверженно поверил в мой коммерческий талант по моему знаменитому московскому торгово-промышленному и биржевому происхождению.

"Что вы такое написали,Дягилев обиделся?" - озадачил меня Жуковский.

- По делу о ликвидации Мира Искусства. - И я показал копию моего письма. - Дягилев не ответил.

Жуковский, внимательно читая мое письмо, подхмыкивал, что означало "правильно".

"Но при чем тут дворецкий?" - И он громко повторил мою подпись: "дворецкий "Вопросов Жизни".

- Дворецкий, моя должность!

"Понимаю! - громче произнес Жуковский,радуясь, что разрешил загадку, - Дягилев обиделся на "дворецкого". Говорят, он сказал: "Я с лакеями не переписываюсь".

- А вы знаете, что такое "дворецкий"? - И я Дягилевым гордо поднял голову. - Дворецкий первый при московском царе и великом князе заступает царя в судебных решениях. А он меня в лакейскую. Да это все равно что спутать государева приказного дьяка с церковным дьячком!

Жуковский зоолог, ему, как и Дягилеву, историческое значение "дворецкий", - в первый раз слышит.

"Я сам ему напишу", - сказал он, морщась, что означало: недоволен.

3

Вечер у Паренсовых - мое первое петербургское выступление.

В гостиной, куда собирались по особым приглашениям - цвет Петербурга! - было заставлено и очень тесно, а нарядно-бархатная круть и все эти приче-

санные вечерние, несуетливо передвигавшиеся, занимая места, казалось, задавят меня, а между тем,проходя, я задевал и ковер и кресла. И как обрадовался - в моих затолоченных глазах вдруг заголубело: А. А. Блок, Л. Д. Семенов-Тяньшанский и Н. Н. Ге - они были в студенческих мундирах, весенние. А за ними серым комком - серые моржовые усы, блестя лысиной,Ф. К. Сологуб, - знакомые.

Первой выделилась из вечернего в белом З. Н. Гиппиус: ломко и снисходительно проговорила она стихи - поминался Брюсов: "Валерий, Валерий, тебе поклоняются гады и звери, студенты, купцы, гимназисты" - остроумие, понятное разве Блоку, Философову, Нувелю. "Я еще и не такое прочитаю!" - "Зина!" - остановил Мережковский. Все были довольны. Философов и Зинаида Николаевна - устроители этого благотворительного вечера.

В черном мужском скромно, но не по-женски твердо, в сапогах - дочь историка и сестра философа - вышла Поликсена Сергеевна Соловьева (Алегро): читает медленно с горьким жаром, вразлад с мясистыми щеками жабы. Она могла бы пропеть Чайковского, но об этом не говорится. Дружно хлопают.

Комаром усевшись под лампой, лает по рукописи Д. С. Мережковский с укором неизвестному, пугаясь. Все ждут сухое властное Зинаиды Николаевны: "Димитрий, будет!" Но он сам вовремя закрыл тетрадь и поднялся. Хлопают восторженно. Или мне слышится: очень я волнуюсь.

Я читал "Пасхальную ночь" из "Пруда": самоубийство матери. И не догадывался, с каким возмущением следят за моим голосом, особенно: "веревки под рукой не оказалось, она схватила со стула панталоны, сделала петлю и полезла к ламповому крюку... монах в ярко-зеленой шуршащей рясе, он гонялся за ней и вдруг присмирел, следя; из его рассеченной брови струится густая кровь, бормочет: "Ой, барыня,барыня, сударыня барыня",а из распахнувшегося пространства с пасхальными свечами весенне ясный голос: "Христос воскресе из мертвых".

Я поднял глаза, и мне показалось: одни повернутые спины, конечно, вставали с места: перерыв; а это мне не показалось, я услышал недовольный шип.

И вдруг я увидел близко большую коневую голову,"седой отмёт",и золотое: Дягилев и рыжий Бакст. Что-то потянуло их ко мне - что-то тронуло в моем ни на что не похожем наперекор.

Скажу, как смотрю я теперь на мой "Пруд" (редакция 1907 г.):

"Пруд это вереск и крик пробудившейся души,словесно взвихренное с тихими полевыми запевами, неумелое, барахтающееся - отпугнуло не только петербургский чопорный зал, а и Москву, взвитую неповторимым Андреем Белым, и Россию Горького".

О "дворецком" с Дягилевым ни слова, а было б к месту, или он забыл, или я в его глазах не я?

Выходя из залы, я не озирался, не задевал, я шел твердо, не по-своему.

В дверях у стены, послушно и без надменной игры ноздрей, Шаляпин: если бы у него под мышкой оказалась салфетка - салфетка ничего не прибавила бы: перед Дягилевым, подлинно дворецким, все казались или только как раз или просто "людьми".

4

Имя Дягилев начинается с выставки портретов в Таврическом дворце.

"Мир Искусства" - литература, останется памятным по В. В. Розанову и Л. И. Шестову, а что потом будет называться "Миром Искусства", пойдет не под Дягилевым, а под именем А. Н. Бенуа.

Выставка открылась в феврале 1905 года. Канун революции. Самое громкое имя: Каляев. Но и Каляев великокняжеской смертельной бомбой не заглушил имени Дягилев.

Со стен Потемкинских хором глядят в последний раз хозяева Императорской России (1705-1905).

"Сергей Павлович, история России вам не темная грамота - вся вековая твердыня: православие - самодержавие - народность - вот она. Ваш труд".

Такое восторженно повторяли всякий день,и у Дягилева выработалась ответная механическая улыбка и никакого внимания.

"Сергей Павлович, а как вы думаете, за Императорской Россией Русия царей пустое место?"

Дягилев посмотрел на меня левым "в оба", как с Бакстовского портрета, и беспокойно на оба прищурился.

Как! он ли не знает Россию - о какой же еще Русии?

Не понял, но поймет - не скоро, после 1917-го года, и не в России, за границей он кинется за старопечатными книгами московской печати ревностно и борзо, как колесил однажды по русским дорогам за старыми барскими портретами.

Сокровищница Дягилева - портреты, господский век России - сгорит в революцию - их спалила не революция "восставшего пролетариата", а обида - черные люди черной земли, обездоленные при освобождении от крепостной зависимости 1861 года. А Московская Русия - дягилевское собрание редких книг - жива, хранит Лифарь в своем парижском обезьяньем притоке - "князь обезьяний!" - под спудом.

5

О ту пору в Москве обнаружилась Обезьянья Великая и Вольная Палата (Обезвелволпал).

Она объединяла всех нездравомыслящих, освобождая от всяких обязательств - изобретение хитрой бестией, человеком, прикрывавшим свое ничтожество подлой, судя по себе, "справедливостью".

В этом высоком обезьяньем учреждении под обезьяньим царем Асыкой - которого Асыку никто никогда не видел и о котором обезьяне никто ничего не знает, - и его семи князей мое место по старине "царский диак", а на современный "канцелярист".

Невский кишел явными и тайными обезьянами. Кому я только ни сочинял обезьяньи грамоты - разрисую разными красками печать и гербовую марку, и остается подкласть под хвост царю Асыке,размахнуть

хвостом "собственнохвостно", и грамота готова: бери в обе лапы.

Писатели, художники, музыканты - если бы все берегли мои грамоты, можно было бы сделать богатую "колониальную" выставку. И из всех один Дягилев, а как ему шел бы тайный обезьяний знак! - никогда не проткнулся в Обезьяню Палату. И сколько раз В. В. Розанов и с упреком: "недобрый,черствое сердце, Разумнику (Иванов-Разумник) выдал,а Сергея Павловича опять обошел!" Меня останавливало: пошлю я ему грамоту, а вдруг да обидится!

Дягилев цвел всеми цветами очарования,но веселости - "юмора" - не замечалось. Чем-то отравленный, о другом было сказать "пришибленный", ему все всурьез. Или возиться с чужими талантами и сознавать, что сам ты ничего не можешь, откуда там веселости?

Самому с собой Дягилеву делать было нечего, и вот он, богатый отборным чужим добром, повез огреметь мир Россией.

Что может заглушить музыку - Мусоргский - Шаляпин! - только переход в другую музыку, в другие голоса - но как там звучит или что соответствует нашему звуку, какая неизбывная, какая разлучная небесная скорбь... о земле или о еще высших небесах.

Дарами и творчеством земной "сознательной" жизни в отмеренном сроке мы продолжаем извечно начатое радугой в веках.

В канун войны (1914) я увижу в Париже еще одно привозное Дягилевское чудо: Нижинский - людоптица.

Его задерживающиеся в воздухе прыжки - поднялся и висит - его непрерывный лёт подымали сцену на воздух, будили память о вещих птицах, предрекавших шумом крыльев - воздушными словами - судьбу.

Потом - и снова Дягилев - Лифарь будет чаровать живым полетом человека, Лифарь откроет глаза человеку о его забытом сне.

Стравинский и Прокофьев - вот как звучит Россия. И Ларионов, и Гончарова, Коровин и Головин - краски русской земли.

6

Дягилев и Бенуа! - без них и спичка не зажжется.

А. Н. Бенуа при королевском дворе воспитан,версалец, а умен многотомно, по душам с ним - мимо ушей, бери делом, делу помехи не будет и дельный получишь совет. Но ревнивый Дягилев - ревность всегда сознание своего бессилия - враждебно исключал все, кроме своего, около кольшет враз.

Балетная затея М. И. Терещенки с моей русалией "Алалей и Лейла" провалилась, и тут не столбняк и смерть Лядова, не война, нет, Терещенко "иностранец" (министр иностранных дел при Керенском), не знал наших обычаев и задумал обойти необходимое: Дягилев-Бенуа.

На собрании к А. Н. Бенуа на Адмиралтейский канал я приходил загодя. Меня предупреждал только С. С. Боткин - растительной породы из кукуруз. На наших глазах подходят гости. Позже Дягилев.

С появлением Дягилева все вдруг менялось и вырастало. Когда врассядку, пожалуй и не различишь,а тут всякий на показ и со всем своим кладбищем.

Добужинский до потолка, и с потолка висят графические руки. Еремич, выгополясь теплыми листами, отенил Чехонина. Чехонин мне под стать, а смотрю на него с закатом. Розовый Лансере распустился в алый куст. Шервашидзе с Аргутинским плывут черным облаком прямо на Эльбрус. Золотой Бакст вымедивается в шлем Мембрана, Головин с поступью царедворца менял тарелки. Остроумова беззвучно щебечет, а Билибин татарской бородой конопатил бантик и сердечки Сомова.

Не без опаски заглядывал Бенуа в дымившуюся "ердань": не сшибли б лампу!

Всякому мотай на ус - что скажет Дягилев,и Дягилеву выложить свое.

А Дягилев прислушивался к Бенуа.

* * *

Я не говорун и не показ, я из декоративного чувствительных. Но дважды меня прорывало, и я распоясался. При обсуждении постановки "Жар-птицы" я показал всю мою "Посолонь" с лешими, травяниками и водыльниками. И когда начались разговоры о "Весне священной", Нарбут вытеснил вокруг себя весь воздух, и тень его Дыдышко и в бабьей распашонке Замирайло поднялись над его головой. Замирайло удержался, а Дыдышко пошел выше и глядит, сияя, с крыши.

Над "Весной священной" много тогда бились,и все без толку. Россию все знали, Русию - кое-что Билибин и Чехонин, а Русь - Рерих застрял и никак не мог выколупнуться из каменного века.

Я рассказывал о полевых, лесовиках, кикиморах и воздушной нежити. Всю эту "нежить" я знаю из сказок и *слов*. Точнее, не вербалист я - вербалятор: слова мне раскрывают больше, чем мой сон.

"Весна священная" - весенний обряд - "поцелуй неба и земли" в круге культа мертвых, как Масленица и Радуница. На этих весенних русалиях непременно маски - рядились зверями, птицами, чудищами и чучелами.

"Человек в обличьи человека в том мире чужак, отпугнешь. И поцелуй,будь даже без нацела,в-мах сорвется. Все нечеловеческое, как и мертвые, ближе к звериному, чудищам и чучелам-чумичелам".

Дягилев слушал... но это не его Россия, не Русия, а волшебная Русь.

7

Левый, которым смотрит в оба, его зоркость и мера мне открылась на репетиции. Я наблюдал за Дягилевым, и на сцену.

Нетерпеливо барской мелкой сечкой рубил он пространство из рядов балкона, выпрямляя закруту, закручивал прямую.

Меру он держал глазом, но живого человека выпрямит и втиснет лишь глухой удар и меткий,смерть.

Как он поднялся и, заплеснув партитуру,пошел - видно было, ему все надоело.

На кого он был похож? Что осталось от его гордой большой головы великого дискриминатора? Наряженная старая кормилица - а кормить нечем.

Таким в моих глазах Дягилев в нашу последнюю встречу: "Зефир и Флора".

"Лифарь, - сказал я, - чудесно!"

И читаю в бесформенной мазне его сузившихся глаз - какая пустыня! - горит предутренним светляком Борей.

"Когда-то я был, нет, вы забыли, старый дворецкий, а теперь я старый китаец".

- И мудрый!

Дягилев широко улыбнулся. И эта улыбка легким воздухом покрыла наше прощайте.

И я подумал:

"Пускай заочно, без грамоты знака, будет Сергей Павлович тайный дворецкий Обезьяньей Великой и Вольной Палаты".

ДЯГИЛЕВСКИЕ ВЕЧЕРА В ПАРИЖЕ

Дягилевские вечера - память-наседка.

Ставили "Свадебку" Стравинского, я ее слушал в который раз и до сих пор не могу позабыть заключительный трензель - во сне снится.

После Дягилевских вечеров громко хочу говорить по-русски.

"Дягилев - Стравинский - Прокофьев - Лифарь".

Все стены Парижа обклеены: русская весна! И когда такое видишь, а еще больше, если посчастливится попасть в театр, скажу так: мне,при всем сознании своей ненужности,мечтающему лишь бы как-нибудь пройти сторонкой и совсем незаметно, вдруг становится чего-то гордо, и я иду крепко, не хоронясь,

и если в метро, не растерянно, а как полагается всякому, прежде чем углубляться,рассматриваю и замечаю направление, чтобы туда попасть, куда нужно, а не в другую сторону ехать, а по утру из булочной с "фиселью", такой длинный и узкий хлеб-палка,несу не горбясь, человеком по роду и кости - русский.

* * *

"Зефир и Флора" - воздушная рапсодия Дукельского. Борей Лифарь.

В взбудораженной памяти слышу голос вихрей: семь братьев - ветров -

жигучий - "заковали колючие губы,не велели холодом дуть",

витной - "вечером врывается,крутит вихрь в лесу",

ветренник - "не отворяй дверь на мороз!"

Зеленый тонкий вей - *зефир*, царственная пламень, при одном прикосновении зеленая флора пожелтела! огонь и золото, а студеней-сивера - *Борей*.

И я вдруг вспомнил Стравинского, еще такие, о которых один он знает: *тмкалы* - вихри подымаются дымами с земли в небо "Священной весной".

По лестнице навстречу прямо из "Голубого поезда" Кокто.

"А вокруг Эйфелевой башни - какие носятся вихри?"

* * *

У позднего метро "Ар-е-Метье" ни души. Один только Волшебник из "Пульчинеллы" - я узнаю его черный в белых звездах платок.

"Ты под звездой, - сказал волшебник и посмотрел, - нет, под знаком стрелы. Так и все, что происходит в мире, что пролетает и что бредет по земле, все под знаком вихря-стрелы: война, революция, землетрясение или то вдруг нестерпимый холод, - и он весь сжался и постучал зубами, - то невыносимо жарко и тревожные сны".

Волшебник переломил свою палку и на обломке тыкалой поднялся на воздух. А я поскорее в метро.

До Операˆ в вагоне пусто. Потом понасели - последний поезд.

И вижу, в уголку под тормозом на самом неудобном месте *"они самые"* из Волшебной лавки. И всю-то дорогу смирные, только хвостиками машут в такт колес. Я не утерпел и как вылезу, тихонечко подергал и у того и у другого.

* * *

Если "индейцев" нам всегда чего-то немножко страшно - "Индея"! - перед "китайцем" испытываешь особенное чувство - уважение. Когда я прочитал у Л. Н. Толстого "письмо к китайцу", я так и представил себе: Толстой, то же чувствуя, писал "к китайцу".

"Соловей" Стравинского - китайское:

> страшные китайские мужики - и как начали друг друга коленить и влёж и встой - все вязнет, цветет и топко, как в "Весне", и светлячок-соловей, его вскруг под соловьиную трель, свист и стукотню перед знойной, вприпрыжку танцующей смертью, и такое - мне всех жалко, и светляка-соловья, и сдавшуюся смерть, это такое мне рассказывал нетопыга-мальчик, как ему бывает жалко и "деда-мороза", ночью спит без кровати в корзинке.

В антракте я встретил обезьяньих "старейшин": А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, К. А. Сомов, В. Ф. Нувель. Я повторял:

"Стравинский - китайцы - жалко".

Есть в музыке, когда и безголосому хочется запеть, а есть, как в "Соловье", без пения в молчанку кружиться.

* * *

"Матросы" Ж. Орика.

Головой я понимаю... когда затрабубубили матросы и я, совсем ушедший из трехмерного в сферическое Лобачевского, проснулся и заглянул на живую сцену, как из окна моей "кукушкиной" с ни-на-что не похожими неживыми, а для меня окличными рогатыми закорючками, во двор на зеленый каштан, на осязаемую жизнь с "нормально действующим механизмом".

С каждым моим днем - "сном" - я все дальше от этой жизни, мне очень трудно писать "из жизни", а жить еще труднее в этой жизни, где левое и правое, верх и низ и надо различать подъем и спуск, и как полагается, работаю и отдыхаю, а всякий вывих и тревога прочь.

Но заглянуть на "осязаемую" после дрожи светляков и прыга китайской смерти, потому что так непохоже, любопытно.

И глядя на "Матросов", мне, не матросу, вспомнился сосед Мак-Орлян, его приключения "A bord de L'étoile Matutine".

На сцену вышел Орик - какой сурьезный! А может, таким и должен быть без улыбки автор "Матросов".

В зале было оживленно и легко.

* * *

На Авеню Мозар в тупике Вилла Флор строят дом. И был у лесов по эту сторону забор и на заборе белой краской ушастый пес. А когда в доме завелись жильцы, больше не вижу караульщика: не то заставили снятыми лесами, не то забор сломали.

Из театра в Отой, в эту пору глухо, подхожу один к дому, а навстречу белые уши - собака, она точно поджидала меня и пошла за мной.

Я позвонил и думаю, чья-то из дому, и входя, замедлил. А она остановилась. Через запертую дверь заглянул я - она все стоит, смотрит - какие бесприютные глаза на меня! И я узнал: знакомая с забора. И мне ее жалко стало, как китайского соловья, как "деда-мороза" - ночь в корзинке.

И я очнулся в корзинке.

На мне белая кофта, пестрые полосы: красный, зеленый, синий - всякого цвета. На глазах ячмень. А голова в плешинах. И это,говорят - голос тесный, как за частым забором - "это вас квартира ест".

* * *

"Оду" Набокова я слушал в Медоне у Маритена: под рояль исполнял автор. Голос - ведро. А на дворе шел дождик. И все сливалось, барабаня, в ушат.

"Ода" со сцены: под гул из темноты высвечивают звезды, стальные треугольники, параллелограммы,ныряя сквозь, сигает гипотенузою профессор,и из сверкающего гула я слышу голос: Ломоносов -

Лице свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень...

"Русский язык самый звучный, речь с героическим звоном.

Богатый - широта, человечность, теплое дыхание степей.

Природа ему даровала все изобилие и сладость языка еллинского и всю важность и сановитость латинского, всякородное богатство и пространство.

Русский язык - живость и бодрость".

Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна, звезд полна, -
Звездам числа нет, бездне дна.

* * *

Метро "Ар-е-Метье".

Когда при входе мне простукивали билет,я заметил на скамейке: дядя и племянница ждут поезда. Так почему-то сказалось: "дядя и племянница" - или потому, как наставительно он говорил ей "уча", а она внимательно слушала родственные наставления уму-разуму. Потом, с сердцем оборвав, замолчал.

И что-то случилось: то ли жара, а было очень жарко, дышать нечем, но когда я, торопясь к вообра-

жаемому хвосту поезда - вот-вот подойдет! - поравнялся с их скамейкой, дядя облапил племянницу. Она сначала скорчилась вся и совсем неожиданно поднялась, не сопротивляясь.

На ней было голубое - упругое и горячо - а в ее глазах, вот от этого взгляда я невольно,да и не я один, все мы, спешившие к хвосту уже стучавшего поезда, приостановились.

Дядя не мог удержаться и шаршил лапой по голубому, давя это упругое и горячее, и глаза его или там, где у него недавно еще переплетались колючки, были теперь задернуты мутной пеленой, он ничего не видел и не замечал, что все это происходит открыто - на людях.

И тут я разглядел ее взгляд, приковавший меня. В ее глазах я прочитал: "пробуждение" - оно без слов передавало ее острое чувство, ей незнакомое, ни с чем не сравнить. И она не сопротивлялась.

Поезд подходил. И все, кто стояли, как и я,глазея, бросились к вагонам. Я обогнал каких-то и по их лицам заметил, что они только стараются не показать, но они готовы поменяться местами: голубое обожгло.

И потом в поезде оно плыло под надрывавший стук. И никто не смотрел друг на друга: глаза у всех были залеплены голубым.

И я вдруг вспомнил:

"Да это первоцвет - так зацветает подснежник - поцелуй земли и неба весны Священной!"

* * *

В последний и прощальный: "вознесение" - *Аполлон* Стравинского и "страдания" - *Блудный сын* Прокофьева.

После торжественного "Аполлона" поднявшийся в тонком облаке на небеса Лифарь падает на землю и в отчаянии загрызает землю.

Музыка "Блудного сына" всрыв и всхват. Кровь и кости - живой сумбур.

В памяти: склещившиеся задами двумордые, снуя, проскакивают перед заблудным Лифарем - беда,от которой не скроешься, неминучая.

"Аполлон" и "Блудный сын" - апофеоз Лифаря.

Из ложи балкона озабоченно В. Ф. Нувель, мало ему глаз, высматривает носом - спутник Дягилева, добрая швейцарская нянька. - Да его нет, ушел.

В буфете своеглазый выкаврдачный Пикассо. А за "отдельным столиком" живой светящийся камертон П. П. Сувчинский, мельничный добрый людоед М.Ф. Ларионов, - четвертьтонный Пуликане Б. Ф. Шлецер, инструментальный А. С. Лурье - свирепо "пили горькую" вприхлёб. Гляжу сквозь Пикассо. Лифарь шел на голове по опрокинутым креслам. И кладет мою рукопись в свой непромокаемый потерянный карман.

И это тоже сон?

Петербургская русалия

КИКИМОРА

"Русалия" - плясовое музыкальное действо. Коновод-Алазион, князь бесовский, демон радости и удовольствия, церкви соблазн, христианской душе пагуба. С незапамятных времен беспощадно гнали Алазиона и со всеми его подручными, потаковниками и прихлебателями - этих всякого рода бесов, исполнителей русалий. Ненаписанная история "веселых людей" скоморохов - история пожарных,но не воду льют, туша пожар, а в тлеющем пожарище вздувают огонь.

Алазион, по словам Нифонта, святой старец видел его собственными глазами, - черненький вихрастый,искрящиеся щелки-глаза и проворный живой хвост. И всюду, где его морда покажется, там хохот, песни и пляска.

Его видел Гоголь: "нахмурит, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья такой взгляд, что кажется, унес бы ноги Бог знает куда". И тоже всюду, где покажется его мерзкая харя, там хохот, песни и пляска. "Отец Афанасий объявил, что всякого, кто спознается с Басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой веры и всего человеческого рода".

Никакие угрозы не действовали,и русалия - "песня-пляска-музыка" - на русской земле не заглохла и живет в веках под Алазионом, по-киевски, или под Басаврюком, по-полтавски, зови как кому любо.

* * *

Наше время,Петербург, 1912 год. Алазиона никто не знает, про Басаврюка читают детям,"русалия" называется "балет".

И вот на первые заморозки Он появляется на Неве во всей своей славе и свитой - по городу говорили, что Терещенко прямо из Киева пригнал на собственных автомобилях ораву, но не поминалось, что это были настоящие бесы - кто ж теперь верует в бесов!

"Алалей и Лейла",волшебный балет - "петербургская русалия" А. К. Лядова. Танцы и хор. "Пляска-песня-музыка" древних русалий, где песня - цветение взлета или пламенный выдох кручи.

М. И. Терещенко - чарующий Алазион. Я под именем Куринаса пишу либретто русалии - образы моей весенней сказки, они зазвучат в музыке Лядова-Кикиморы.

В шествии на русалию, как видел Нифонт, музыкант идет об руку с Алазионом, а с ним,согнувшись, либреттист -

Алазион - Кикимора - Куринас.

В свите Алазиона я различаю: режиссер,художник и балетмейстер - Мейерхольд, Головин, Фокин -

Гад - Дад - Коловертыш.

Алазион (Терещенко) мне передал от Буробы (В. А. Теляковский, директор Имп. Театров) за мое либретто тысячу рублей. И когда в Аничкином Дворце я подписывал контракт - 3% с представления - усатые хвостики Буробы шевелились под мой до небес исструнченный росчерк.

Это был первый и единственный случай в истории Императорских Театров: тысяча рублей за либретто.

Лядов рассказывал, вспоминая своего отца - имя громкое, кто только ни писал - Павлов и Сологуб и Ап. Григорьев, "оркестр Лядова" - что в старину либреттист за свое труд довольствовался полдюжиной пива, а начнет хорохориться, в шею без разговоров.

"Тысяча за либретто, да этак можно с ума спятить!" - повторял Лядов, прицениваясь, сколько же будет стоить его музыка.

"Да не меньше двести тысяч!" - поджигал Гад с Дадом, им, известно, наговорить, что огоньки пускать, болотная нечисть.

И эти болотные двести тысяч - гонорара за музыку - заколдовали воображение Лядова.

* * *

"Русалия" и наши тайные собрания на Дворцовой набережной у Терещенки и на Подьяческой у Головина не скрылись от любопытных глаз, знал весь Петербург: не было человека, кто бы поверил, что Лядов напишет балет и русалия осуществится на Мариинском Театре.

На собраниях Лядов только смотрел, подпирая свой виноватый взгляд задорно кикиморным носом, единственный надежный природный упор, почему-то обращаясь не к Терещенке, не к Мейерхольду, а к Блоку - Блок был привлечен в свиту Алазиона под именем Марун - Блок, краснея, отвечал Лядову также молчаливым болезненным сочувствием.

А сколько раз я со своим либретто волшебной сказки ходил к Лядову на Николаевскую и заставал его: сидит - "дивясь сам себе".

Моя обезьянья грамота, много вечеров я над ней гнулся, какие там болотные двести тысяч, царь Асыка сулил золотые горы! - еще глубже вдавалась в музыку, озолотя.

"Баба-Яга" и "Кикимора", Лядову и выдумывать нечего, давно прозвучало и напечатано, но ведь среди метели Ягиной нечисти и проказ Кикиморы мои Алалей и Лейла?

"На черном бархате, - сказал Лядов, - под скрипку, вспыхнув, спускаются две серебряные звезды,Алалей и Лейла".

И это единственное, - это начало русалии, что осталось в памяти за два года "тайных" совещаний, неизменно за любимым янтарным токайским - из запасов Терещенки.

* * *

Мастерская А. Я. Головина на сверх-верхах Мариинского Театра завалена чудищами, вся моя "Посолонь" с весны годовой круг, - "игрушки" работы Анны Алексеевны Рачинской, чудесным образом вышедшей из "неизлечимого" умопомрачения, выкуколив полевое, лесовое и воздушное моих "подстриженных глаз".

Буроба (Теляковский) очень беспокоится: первое представление волшебного балета "Алалей и Лейла" предполагалось в царский день в присутствии царской семьи, не напугать бы "чертями". Буроба подымался в мастерскую Головина и, глядя на Доремидошу, Крискувараску, Ховалу, Кощу да на ту же свою Буробу, только шевелил усами, столбенея.

На "тайных" совещаниях каждый раз я читаю новую редакцию русалии, сокращая, Мейерхольд затевал ввести цирковые трюки в явлении Чучелы-чумичилы, и особенно занимает его "солнечная колбаса" в эпилоге: как эту блестящую колбасу похитрей спустить с Головинских небес, чтобы угодила прямо в лапы лесовым - Гаду и Даду.

М. М. Фокин на "тайных" совещаниях не показывался - музыки и в помине не было, а танец не колбаса.

* * *

В сентябре 1914 года - в самую горячку войны - Лядов помер, унеся с собой на тот свет две мои серебряные звезды, звучащие скрипкой - Алалея и Лейлу. Глазунов среди оставшихся бумаг не нашел ни строчки, посвященной русалии.

* * *

Все мы с Алазионом стояли на обедне в Ново-Девичьем монастыре - за гробом Лядова.

Лицо его было закрыто голубыми шелковыми воздухами, из-под узкого золотого покрова виновато торчали смертные туфли без задников. И на эти тычки-туфли все глядели, как на самого покойника - все, что осталось от живого человека.

Молодая монашка-гермафродит "неестественно" горловым совьим басом читала за обедней Апостол - впечатление потрясающее - это был Лядову прощальный голос его Бабы-Яги и Кикиморы.

Осенний солнечный день грел по-летнему,и только нелетний ветер все настигал и пересвистывал желтыми листьями по дорожкам кладбища. И в раскрытую могилу залетали золотые листья - могила Лядова обок с Некрасовым, Салтыковым и Тургеневым.

Когда все было кончено и одни только черные в осеннем золоте среди крестов и памятников монашки, мы, кланяясь в последний раз: "прощайте!" - вышли за ворота.

Недалеко от кладбища, у Нарвских ворот, второразрядный трактир, туда мы и зашли, Гад, Дад и я. И помянули блинами Кикимору, Бабу-Ягу и мою, так и не зазвучавщую волшебную русалию, мои серебряные звезды - Алалея и Лейлу.

бесприданница

Я часто встречал В. Ф. Комиссаржевскую. Сказал ли я с ней хоть слово? Никогда. В памяти испуганные глаза и как здоровались: крепко держит мою руку.

Так же было и с Блоком. Он, краснея, "Вера Федоровна..." - а испуганные глаза серыми светляками, погасая, как на нитке куда-то убегали: то она что-то забыла, то ее куда-то позвали.

Ей что-то хотелось сказать, но она не находила слов. А я всякий раз себе говорил: "видел Веру Федоровну".

В те времена "мракобесия" - корифеем был Мережковский, облепленный сверху донизу Достоевским - выражались туманно. Вере Федоровне казалось,что со мной и с Блоком надо говорить какими-то особенными словами под всеобщий словесный мрак.

Так объясняю я наши молчаливые встречи.

Ясной мысли, чего мы хотим от театра, у нас не было, ясно было, что современный театр не театр и что реализм - разрушение театра. Без всяких рассуждений у Блока вышел "Балаганчик", у меня "Бесовское действо", это было так непохоже на все, что тогда называлось "театром".

Я читал Комиссаржевской "Иуду". В пьесе есть роль: "Ункрада" - трагедия. А это как раз по ней. У Комиссаржевской было вдохновение. Научиться играть она не могла, она плохо играла, но вдохновляясь, она могла творить чудеса. Ее прославила "Бесприданница" Островского: изумительно! У нее вдруг менялся голос и соскакивали слова, звуча таким первородным - Плач Адама на проклятой Богом земле,в эти минуты душа ее кипела. Выражаясь с моих глаз,"пар подымался". Комиссаржевская была трагической актрисой - вот по какой дорожке надо было ей идти, а не водевилить.

Все это я, не называя, чувствовал. Здороваясь, я прикасался к вулкану. Но что она чувствовала - со мной и с Блоком - что-то да чувствовала, почему и глядела такими испуганными глазами.

Мейерхольд заворачивал голову наукой,А. В. Тыркова-Вильямс общественной деятельностью. "Наука" довела до слез, тут и произошел разрыв с Мейерхольдом. А мысль об общественной деятельности привилась. Перед погибельным Самаркандом (позарилась на ковры и тюбетейки) только и было разговору о создании Театральной школы, куда входил Блок и я (два неизвестных), "и надо поговорить с Вячеславом Ивановым!" (третий неизвестный).

И только смерть спасла ее от слез - какое это было бы разочарование, Театральная школа с тремя "неизвестными". Комиссаржевская была трагическая - там ее и место! Но без всяких головоломных затей - живой человек среди "мракобесия".

* * *

Расскажу, кого из великих мне посчастливилось видеть - Федотову, Ермолову, Стрепетову я отчетливо помню.

Все три не простой марки.

У Стрепетовой - "Горькая судьбина" - все в ее горючих руках, в них и через них звучит слово. У Федотовой - "Макбет" - голос, а ее голос - черный родник. А Ермолова - "Мария Стюарт" - какой чувствительный изгиб: живет каждый мускул ее тела, и какое бездонное дыхание!

Всех я их видел на театре и раз Федотову в жизни. Это было на похоронах отца, полная церковь, и я моими "подстриженными глазами", мне было шесть лет, видел вон ту - потом я узнал, что это знаменитая московская актриса, какая-то дальняя родственница отца, на его счет воспитывалась в театральном училище. Но чем она поманила меня, не могу вспомнить, я только,говоря,повторял:"в такой шляпке".

* * *

Очень важно, как входит человек.

Когда семеня и перебирая руками, появлялся в комнате В. В. Розанов, все, и самое мертвое, вдруг оживало, подымался беззаботный смех.

В появлении Мережковских было всегда что-то комическое, потому и было так смешно смотреть. На похоронах Мережковского, стоя за гробом, я понял,что в жизни он был ходячим гробом: гроб,закрытый крышкой и среди церкви,ничего смешного, но каково в жизни - такая встреча. З. Н. Гиппиус вся на костях и пружинах - устройство сложное - но к живому человеку никак. Да они и всю жизнь, а прожили в удовольствие, только и говорили о "конце света",с какой-то шипящей злостью отвергая всякую жизнь.

Вячеслав Иванов входил танцуя, а Горький урча. Блок медленно и трепетно лунным лучом. Комиссаржевская как вихрь.

* * *

За "Бесовское действо" она наградила меня лавровым венком, стоил 80 рублей (1908 г.), на месяцы щи, а красная лента на память (хранится в Пушкинском доме). А когда с этим венком под хлещущий свист я прошел со сцены в ее "ложу", она встретила меня как всегда - ни слова - не отпуская мою руку, она только смотрела: она боялась, как это на меня подействовал свист, и вместе с тем я видел в ней Гильду из "Строителя Сольнеса", и в ее испуганных глазах я читал, что одобряла, что так и надо и навсегда: "наперекор".

Ей потом и Ункрада ("Иуда") пришлась по душе за этот извечный "наперекор". Почему-то это настроение души называется туманно "демонизмом".

И когда после моего чтения она, пробуя, сама читала:

"Зимы там долги и темны - белый снег..." - эти слова Ункрады будили в ее душе память, однажды изливщуюся тоской в песне "Бесприданницы".

* * *

И еще памятен мне вечер. Сквозь петербургский туман одни фонари, закутанные крепом, с болью светят в себя.

В театральной мастерской на Офицерской читали поэты: приезжий из Москвы Брюсов и петербургские столпы - Блок, Кузмин, Сологуб, Вячеслав Иванов.

Когда Вяч. Иванов прогнусил свои церковно-славянские канты, а на столиках зазвякали тарелки, я непрошенный, я не поэт, неожиданно для других, но, главное, и для самого себя - было устроено вроде эстрады из ящиков, помню, как я пробираюсь со страхом, и говорю себе "куда и зачем" - и вылез:

Баю-бай, медведевы детки, баю-бай.

И оттого, что мотив "Медвежьей колыбельной" я запомнил из моего сна, я не пел, а только вызвучивал ритм, а слова были звериные, как это далеко к петербургскому! вдруг наступила такая тишина - это

бывает, когда покажется, что все провалилось, и только слышно один голос - свое.

И потом первое, что я увидел и запомнил - это были знакомые испуганные глаза. Мне и снилась однажды Комиссаржевская в образе Сфинкса - в этом испуге была загадка.

* * *

На похоронах Комиссаржевской мне не пришлось быть. Но ее верный рыцарь А.П. Зонов,старый актер, мне рассказал, как было торжественно в Александро-Невской лавре и сколько венков. А от себя и от меня - Зонов был странный человек - но без нашей подписи, он положил сверх всех венков:

"Радуйся благодатная!"

ПОСЛУШНЫЙ САМОКЕЙ

(Михаил Алексеевич Кузмин)

1871-1936

Михаил Алексеевич Кузмин,рассказавший в "Александрийских песнях" по-русски об Антиное,взблеснул на литературном искусном Петербурге 1906 года и умер в Ленинграде в 1936 году.

* * *

Такое состояние человека, когда только глядят глаза... Как избитый за ночь, поднявшись через силу, иду за добычей. Навстречу и обгоняют: у кого мешок, у кого кувшин, а бывает, и с пустыми руками.

И в тот же самый утренний час, и всегда особенно зябкий, вы тоже, и как часто с пустыми руками. Из Парижа вижу вас, вашу улицу.

"Счастье свободного человека, - говорите вы, "тихим стражем", поворачивая ко мне ваши единствен-

ные вифлеемские глаза, - зависит от того, сколько у него рублей в кармане".

Вы на своей земле - в Ленинграде,а я в Париже, а судьба наша одна. Вы идете,остерегаясь не толкнуть,но вас толкают. Какие счастливые, потому что наполнены горьким чувством, не пустые,наши беспризорные дни!

* * *

Когда мне говорят "Кузмин", я слышу антифоны:

"О, дороги, обсаженные березами, осенние,ясные дали, новые лица, встречи, приезд поздно вечером, отъезд светлым утром, веселый возок, возницы, деревни, кудрявые пестрые рощи,монастыри. Целый день и вечер и ночь видеть и слышать того,кто всего дороже, - какое это могло бы быть счастье, какая радость, если бы я не ехал, как слуга,хлопотал о лошадях,ужинал на кухне,спал в конюшне,не смел ни поцеловать,ни нежно поговорить с моей Луизой,которая к тому же жаловалась всю дорогу на головную боль".

Татуированный Сомовым, шляпа с лентой "умирающего Адониса", в одной руке левкой, в другой мешочек: "акакия" (земля), символ смирения базилевсов, - такой в моих глазах,когда мне говорят: "Кузмин".

Наши пути другие, и оттого что моя стихия, мой огонь, вспыхнувший в веках, живет и светит по-другому, как бы я хотел быть, как вы, "послушный":

Если мне скажут: "ты должен идти на мученье" -
С радостным пеньем взойду на последний костер, -
Послушный.

Если б пришлось навсегда отказаться от пенья,
Молча под нож свой язык я и руки б простер, -
Послушный.

Если б сказали: "лишен ты навеки свиданья", -
Вынес бы эту разлуку, любовь укрепив, -
Послушный.

Если б мне дали последней измены страданья,
Принял бы в плаваньи долгом и этот пролив, -
Послушный.

Если ж любви между нами поставят запрет,
Я не поверю запрету и вымолвлю: "нет".

Таким я вижу Кузмина и в "Сове" (Бродячей собаке), веселом ночном подвале "Плавающих и путешествующих", за высокими ширмами, где тесно сидят с блестящими в полумраке глазами, и там, в Таврическом Народном Театре, битком набитым солдатами, - стоячие места, "послушно" опущенные руки.

В метро вошла женщина с девочкой,я взглянул на мать и вдруг понял, откуда эти знакомые "вифлеемские" глаза, - в роду матери у Кузмина французы.

Ваша звезда не погасла: она мне видится над зеленым морем среди мигающих мохнатых звезд,а в безлунные ночи в засыпанном золотыми зернами небе.

Ваше имя еще живет в кругу книжного Петербурга и всегда останется у любителей стихов.

Брюсов повторял, что писатель должен быть на уровне с достижениями науки, философии, литературы и искусства. Его ученик, Гумилев, как Горький,учительствовал - обоим недоставало "высшего образования". Зато с Вячеславом Ивановым стоило раз поговорить, чтобы с первых слов, и без Брюсова, понять, что требуется от писателя. С. К. Маковский - одним словом, "Аполлон", Андрей Белый - "философ" - глаcолалия, а Кузмин - начетчик.

Для Кузмина искусство - все; а все остальное только хлеб, да и тот выпечен. Говорю по Кузмину, его манерой.

Начитанность Кузмина в русской старине не заронила ни малейшего сомнения в незыблемости русской книжной речи: Карамзин и Пушкин. Следуя классическим образцам, он добирался до искуснейшего литераторства: *говорить ни о чем*. У Кузмина есть страницы, написанные просто для словесного складу и очень стройно, точь-в-точь как у Марлинского его великосветские кавалеры,подпрыгивая под Вестриса,

говорят с дамами "средь шумного бала" или, как дети в игре, разговаривают друг с другом "по-шицам". Этого песку и в "Тихом страже", и в "Нежном Иосифе", и особенно в "Плавающих и путешествующих", написанных как будто под Лескова.

Свое несомненное в незыблемость и единственность образцов русской классической книжной речи, увенчанной Пушкиным, Кузмин выразил и объявил как манифест "О прекрасной ясности". Это был всеобщий голос и отклик от Брюсова до Сологуба. Мне читать было жутко.

"Чуть слышный шепот прошелестел, как шаткий камыш: "Зачем ты все воюешь, если и всем обладать будешь, возможешь ли взять с собой?" - Александр горестно воскликнул: "Зачем ветер вздымает море? Зачем ураган взвихряет пески? Зачем тучи несутся и гнется лоза? Зачем рожден ты Дандамием, а я - Александром? Зачем? Ты же, мудрый, проси чего хочешь, все тебе дам я, владыка мира". Дандамий потянул его за руку и ласково пролепетал: "Дай мне бессмертие!"

(Подвиги Великого Александра)

Прекрасная ясность!
Прекрасная ясность по Гроту и Анри де Ренье.

"Роман или рассказ могут быть приятной выдумкой, не больше. Если же они представляют неожиданный смысл еще и по другую сторону того, о чем повествуют, то следует радоваться этому,полуумышленному дополнению, не требуя излишней последовательности, а рассматривать повествование лишь как плод таинственных соответствий, какие, вопреки всему, существуют между явлениями".

(Рассказ о маркизе д'Антеркер)

Кузмин следовал этому правилу, искусно делал литературные вещи. В его рассказах так много "беспредметной мудрости духовных бездельников и обеспеченных лентяев".

* * *

Родина Кузмина - Ярославль. Земля питерских и московских половых "шестерок" - белотелый щеголь, зоркий и слухменный, а уж речист - перепелку языком перешиб.

Источник неиссякаемого словотёка - глубокомысленно пустых страниц "Нежного Иосифа" и "Тихого стража" - не материнское французское "causerie", а уставленный чашками поднос - как перышко, бросает его на стол ярославец -

"Ракета! Рассыпалась розой, роем разноцветных родинок, рождая радостный рев ротозеев".

"Ярославль" для Кузмина символ. Старообрядки - васильсурская Марья Дмитриевна и Устинья с Гагаринской моленной - "Ярославки". О "Богу-славных" Кузмин не знает. А его демон-вдохновитель ярославский Зевс - ярославский Дионис - ярославский Гелиос.

"Цветы, пророчески огромные, огненные зацветают; птицы и животные ходят попарно, и в трепещущем розовом тумане виднеются из индийских "manuels érotiques" сорок восемь образцов человеческих соединений".

Так кончаются "Крылья" - взлет ярославца.

Живой вдохновитель Кузмина Пьер Луис, а соблазн - французские новеллы XVIII века. Любимые писатели: Анри де Ренье и Анатоль Франс. От "Песен Билитис" - Александрийские песни; от новелл - "Приключения Эме Лебефа" и "Калиостро"; от Анатоля Франса - "Путешествие Сэра Джона Фирфакса","Кушетка тети Сони", "Решение Анны Мейер". Из русских: Мельников-Печерский и Лесков - Прологи и Апокрифы, откуда вышли Кузминские действа - "О Алексее, человеке Божием", "О Евдокии из Гелиополя".

Ирония Кузмина никак не от Анатоля Франса, а лесковская,с "подмигом", но без всякого юмора Лескова. Оттого от повестей Кузмина такая скучища, а все его"протягновенности" - провинциальный всурьез.

"Занавешенные картинки", есть у Кузмина такая книга не для дам, от "Казначейши" Лермонтова,но ка-

кой ярославщиной несет от петербургской "галантности".

И снова я слышу антифоны, и в моих глазах вифлеемские глаза:

"Имея душу спокойной, я был счастлив, ведя жизнь странствующих мимов. Я любил дорогу днем между акаций, мимо мельниц, блиставшего вдали моря, закаты и восходы под открытым небом, ночевки на постоялых дворах, незнакомые города, публику, румяны, хотя и при маске, шум и хлопанье в ладоши, встречи, беглые интриги, свиданья при звездах за дощатым балаганом, ужины всей сборной семьей, песни Кробила, лай и фокусы Молосса".

(Повесть о Елевсипе)

* * *

Кузмин выступил в 1905 г. в "Зеленом Сборнике". Блок написал рецензию в "Вопросах Жизни". Так я узнал имя Кузмин. С Кузминым, и тоже стихи, в первый раз был напечатан Ю. Н. Верховский, известный под "обезьяньей" кличкой Слон Слонович, "фиктивный" враг В. Ф. Ходасевича и "заковычный" друг М.Л. Гофмана, оба одновременно негласно трудились над Дельвигом. Третий участник "Зеленого Сборника", проза: Вяч. Менжинский, впоследствии заместитель Дзержинского. Блок выделил Менжинского, а Верховского (Слона Слоновича) и Кузмина напутствовал добрым пожеланием.

А познакомился я с Кузминым осенью 1906 года на вечере "Современной музыки". Кузмин был один из организаторов этих вечеров: В. Ф. Нувель, А. П. Нурок, Вяч. Гар. Каратыгин, И. И. Крыжановский, Гнесины, В. А. Сенилов и М. А. Кузмин.

В антракте Нувель показал мне, подмигнув, - сидел в среднем ряду.

"Кто это чучела гороховая?" - спросил я.

"Кузмин, я вас познакомлю", - Нувель улыбнулся носом.

Не поддевка А. С. Рославлева, а итальянский камзол. Вишневый бархатный, серебряные пуговицы, как на архиерейском облачении,и шелковая кислых вишен рубаха: мысленно подведенные вифлеемские глаза, черная борода с итальянских портретов и благоухание - роза.

Заметив меня, он по-лошадиному скосил свой глаз:

- Кузмин.

И когда заговорил он, мне вдруг повеяло знакомым - Рогожской, уксусные раскольничьи тетки, суховатый язык, непромоченное горло. И так это врозь с краской, глазами и розовым благоуханием. А какое смирение и ласка в подскакивающих словах.

У Вячеслава Иванова на Таврической "Башне" я услышал его "Александрийские песни". Он их пел под свою музыку, ученик Римского-Корсакова. Музыка незаметная, а голос - козел. Смешновато, но не раздражает, как обычно авторское исполнение, спасал слух.

И когда он не пел, а читал свои стихи по-своему с перескоком слов, теткиным знакомым голосом, было очень трогательно, одинаково как "трагическое",так и "смешное". В его словах звучала тусклая бисерная вышивка ярославской работы.

А как меня слушал Кузмин? Одновремено с "Крыльями" вышла моя "Посолонь". Да так же слушал, как и все петербургские "аполлоны" - снисходительно.

Природа моего "формализма" (как теперь обо мне выражаются) или, точнее, в широком понимании "вербализма" была им враждебна: все мое не только не подходило к "прекрасной ясности", а нагло перло, разрушая до основания чуждую русскому ладу "легкость" и "бабочность" для них незыблемого "пушкинизма". Они были послушны данной "языковой материи", только разрабатывая и ничего не начиная.

Так было отталкновение "формально", но и изнутри я был чужой. Вся моя жизнь была непохожей. И все их "приключения" для меня только бесследная мелочь или легкая припыленность.

Но как случилось,что я очутился с "аполлоном"? Да очень просто: ведь только у них, "бездумных", было искусство, без которого слово немо и от набора слов трескотня и шум. Но близко меня не подпускали, "своим" я не чувствовал себя ни с ними, ни у отрицавших их, веровавших в искусство - "жарь с плеча".

Висеть в воздухе - моя судьба. "Муаллякат" - символ моей жизни. Или как в Петербурге, в те дореволюционные времена, прислугам писали на удостоверениях из наемных контор: "неподходяча".

Так "неподходяча" и до сих пор в моем русском советском паспорте, а в эмигрантских удостоверениях внушительная "похерь".

* * *

Что осталось от Кузмина,какая звучащая память?

Кузмин создал русскую легенду о Александрии. Как Блок своим петербургским цыганским туманом,Кузмин чаровал египетской цыганщиной. - Вот что со мной от Кузмина.

"Когда мне говорят Александрия, я вижу белые стены дома, небольшой сад с грядкой левкоев, бледное солнце осеннего вечера и слышу звуки далеких флейт..."

* * *

В расцвете "кларизма" в "Аполлоне", а на другом конце литературной улицы "дубоножия", эти двери для меня "вход воспрещен", помню осенний петербургский мой любимый вечер. Я что-то писал, и никогда не покидавшая меня надежда из безнадежного осеннего дождя подстукивала в окно,собирая горячие мысли и неостывшие слова.

Мы жили в Казачьем переулке - Бурков дом. Мимоходом зашел учитель, непохожий на учителей Сологуба, М. Н. Картыков, он только что выпустил тоненькую книжку: М. Багрин "Скоморошьи и бабьи сказки". Он торопился на собрание в "Аполлон",где будут все: Ф. Ф. Зелинский, И. Ф. Анненский,Вяч. Иванов,

С. К. Маковский, Блок, Гумилев, Сологуб, Кузмин, а из Москвы Брюсов и Андрей Белый.

"Знаете, - сказал Картыков, - все они высшей культуры, а мы с вами средней".

И это осталось у меня в памяти.

Знает ли нильский рыбак,
когда бросает
сети на море, что он поймает?
Охотник знает ли,
что он встретит?
Убьет ли дичь, в которую метит?
Хозяин знает ли,
не побьет ли град
его хлеб и его молодой виноград?
Что мы знаем?
О чем нам знать?
О чем жалеть?

Кружитесь, кружитесь:
держитесь
крепче за руки.
Звуки
звонкого систра несутся,несутся,
в рощах томно они отдаются.

бесовское действо

Моя страсть к театру, как и моя непреодолимая охота рисовать - без них я не я. Люблю все представления - от балагана до Эсхила и Вагнера. Самый воздух меня подымает. Тайна театра... видано ли, чтобы волк, лиса, осел, конь и верблюд, павлин,лев и черепаха разыгрывали между собою вторую жизнь - театр; но человек - в шкуре и перьях - и по природе одной повадки может *притворяться*,и не в защитных целях, а по какой-то и совсем не "жизненной" воле. Начало моей литературной работы театр: *Бесов*·

ское действо у Комиссаржевской. Так оно и должно было случиться, и именно у Комиссаржевской, а не в Художественном, в самой своей затее,как реакция на напыщенную театральность, отрицавшую "скоморошье" существо театра.

Постановка моего "действа" - театральная история: без грима я разыгрывал сумасшедшего, которому "представляются черти", как объяснял помощник режиссера, кивая на меня, цензору: Ланкерт решительно отказывался понять пьесу; потом я "ломал комедь" под цензора, вычеркивая "соблазнительные" места из моего "святочного гаданья с переодеваниями", как в конце концов растолковано было мое загадочное "действо", а когда разрешение было дано, роли распределены, началась канитель со Змием: никто не соглашался - очень стеснительно и беспокойно: ведь актеру надо было сидеть на корточках, шевелиться и затем издохнуть! - и много выпало мне приманочной надсадки и уговора, пока не вызвался смельчак из театральных рабочих, но потребовал за каждое выступление бутылку водки и рубль денег, а в заключение, после премьеры, я представлял "корм", питая петербургских карикатуристов, и пользовал знакомых и соседей лавровым листом из своего венка, для щей: и больше всех наел появившийся в ту пору в Петербурге М. М. Пришвин, прославленный русский писатель, "академик", а тогда застенчивый и не "выразимый" этнограф и космограф.

"Действо" принято было как безобразие, оригинальничанье и издевательство над зрителем - "Бесовское действо насупротив публики за то, что с доверием принесла свои рублики".

Спектакль "Действа", как и "Балаганчик" Блока, - театральный скандал: свистки в аплодисменты или аплодисменты под свист - неистовство и исступление.

Старый актер К. В. Бравич отказался играть,пришлось заменить молодым, неопытным, но не постеснявшимся ходить весь вечер с демонским хвостом, приколотым "ангельской булавкой". "Бесовское действо" было первым выступлением М. В. Добужинского как де-

коратора и началом Ф. Ф. Комиссаржевского как режиссера. Музыку сочинял М. А. Кузмин, пел хор А. А. Архангельского.

Когда о произведении говорят: "непонятно" - что ответить? Я понимаю и готов выслушивать всякую критику - на то и критики на белом свете, чтобы судить, а не целоваться,но одного я не могу принять, как можно ставить в упрек театральному писателю, что он "издевается над зрителем", точно существует в природе какой-то одушевленный, постоянный зритель, тогда как на самом деле "зрителем" для автора был, есть и будет сам он. Я понимаю и терпеливо выслушиваю всякий отзыв. Горький говорил, что для него критика "хлыст: встрепенешься!" Я согласен, много соблазнов потерять перспективу,вообразить себя не на том месте, где посажен - низкий уровень читательского круга, льстивая критика, дружественный отзыв приятелей - и успокоиться в гении Льва Толстого, да, плетка не помеха, я понимаю, но никогда я не мог согласиться, как возможно упрекать писателя, будто бы он старается быть оригинальным во что бы то ни стало,послушайте: "оригинальность" это лицо, а имея вместо лица лопату,сколько ни старайся - ничего не выйдет.

"Бесовское действо..." бесы откололи себе хвосты и поделались людьми, не отличишь от правдашних, вторая часть трилогии "Трагедия о Иуде", разрешенная Дризеном под названием "Проклятый принц" с заменой Пилата - "Игемоном"; имя обезьяньего царя Асыки осталось неприкосновенно: Валахтантарарахтарандаруфа.

Пьеса, принятая В. Ф. Комиссаржевской,осуществлена лишь через шесть лет Ф. Ф. Комиссаржевским в Москве: пять лет рукопись носил у себя в заднем секретном кармане режиссер А. П. Зонов, неприкосновенно-единственный экземпляр, что, по его мнению, "подымало интерес". Третья часть трилогии - бесы не ряженные и не бесовские люди, а в своем демонском видении: "Действо о Егории Храбром", появившееся в "Аполлоне", пытался в инфляцию устроить в немецком

театре в Берлине известный знаток старинного пения П. П. Сувчинский,помешала стабилизация, и все "бесовское" хлынуло волной в Париж.

А еще в революцию, как апофеоз "Бесовского действа", я написал по народным текстам "Царя Максимилиана"; трагедия, другого определения не найдется, показана была в дни кронштадтского восстания на Лиговке, в железнодорожном клубе под гармонью; зрелище незабываемое.

Сколько у меня было надежд, как верил я, что революция подымет и соберет слова со всей русской земли и то, что считалось "областным", станет в свете таланта "литературным": какое богатство слов, и у каждого слова, как листья, слова-оттенки.

"Конек-горбунок" в незапамятные времена положил начал моему любопытству к балету.

Встреча с М. М. Фокиным, для которого я сделал несколько сценариев на музыку, разговоры с ним открыли передо мной балетную мудрость.

И потом под глазом Терещенки, Михаил Иванович занимал в те времена какую-то должность при Императорских Театрах, на свой страх и риск написал я *русалию* (древнее название балетного действа) "Алалей и Лейла" для Мариинского театра. Лядов за годы подготовки не раз поминал о своих затеях: и помню скрипку на черном бархате - появление моих героев Алалея и Лейлы.

В канун революции - моя русалия на тибетскую легенду "Ясня" для О. О. Преображенской. Все было готово, но случился призыв ратников ополчения второго разряда, и режиссера, его помощника и меня с ними, пропустив через Проходные Казармы, посадили в Военно-клинический госпиталь на испытание.

В революцию для детского театра моя последняя русалия "Гори-цвет". Связанный с театром, я после моего единственного и позорного выступления ни разу не принимал участия как актер. "Ночные пляски" Сологуба не в счет. Кто не знает, как может говорить Н. Н. Евреинов! - по длительности и магии его можно сравнить, если вспомнить московских "филосо-

фов",собиравшихся на Собачьей площадке в годы войны и революции... ну, и заговорил - и я поддался: правда, моя роль Кошмара, как силы бесплотной,оказалась и бессловесной - а "появиться" я и без очков могу, не сшибая кулис.

От моего актерства - мое чтение. Но "чтение" не "игра". Профессиональные актеры при своих дарованиях голосовых и мимических читать не могут, не в состоянии отказаться от игры, а "игра" нарушает ритм - от произведения ничего не остается.

Я слышал чтение Горева - по "темпераменту" никому не угнаться, но от слов, стиха - ничего. Я видел в Москве в Зоологическом саду "Золотую рыбку": что это было! - старуха визжала, старик охал, рыбка сюсюскала (школа Художественного театра и прием Рейнгарда: сюком, напоминающим всплеск волны, передать голос рыбы!) и от пушкинского величаво-могучего предопределенного, но человечески-раздумного "жил старик со своею старухой у самого синего моря" ничего не осталось.

Я понимаю отчаянных, но никогда не отчаивающихся "изобретателей" - в них живет и действует страсть. Что говорить, "Бесовское действо" - весь мой театр и с русалиями пролетел! Кто знает или хотя бы слышал о "Бесовском действе"? И никого-то из свидетелей не осталось: Блок, Андрей Белый, Кузмин, Сологуб, Гумилев, Розанов, Щеголев,Волынский... Брюсов,Гершензон, все на том свете!

Но разве моя театральная страсть из-за неудач или моего неуменья могла погаснуть? И я не существую?

Моя "Обезьянья великая и вольная палата" (Обезвелволпал) или,по-здешнему,L'Académie des Singes - тот же театр. Царь обезьяний Асыка Валахтантарарахтарандаруфа, персонаж возможный в "Подвигах Великого Александра",а в существе от гоголевского Вия, выпущенный на сцену в "Трагедии о Иуде" и хранившийся пять лет неприкосновенно в заднем кармане у Зонова, вышел к детям щедрый и без всякого лукавства.

Детям очень понравилось играть в обезьяньего царя. Я рисовал им "обезьяньи знаки": линии, как они сами из себя выпиниваются, по Кандинскому; из фигур, а у них всегда свое лицо, высовывались или прятались, высматривая рожи и морды другого, не фигурного мира, чудища и звери, конечно "лютые", но в своем существе, по Достоевскому ("Бог им дал начало мысли и безмятежную радость"), как на рисунках Ф. С. Рожанковского и Натальи Парэн; звери пугать пугали, и иначе невозможно, но они были своими, они тоже пугались, очень близкие детскому безмятежному миру.

Детей занимало и то, что они должны были носить эти знаки скрытно, никому не заметно - тайна! и то, что если и заметят, все равно никто ничего не поймет, а также трудновыговариваемое имя царя и то, что его никто не видел и о нем никто ничего не знает.

Они верили, что только один я, как-то "схвостясь", могу с ним разговаривать и объясняться на "обезьяньем языке".

А от детей игра перешла к взрослым, и "обезьянье царство" как-то само собой получило в войну и революцию сатирический характер свифтовского лошадиного царства *гуингнмов:* царь Асыка издавал манифесты и подписывал "собственнохвостно" декреты. Но и то скажу: что я могу подарить людям? Прежде была надежда: книгу; но теперь, когда нет никакой возможности издать и все подготовленное - вся работа многих годов обречено храниться в рукописях? Именины, рожденье, Пасха, Рождество или юбилей, или свадьба, или кто мне добро сделал, и хочется как повыразить человеку - со всякими завитками я писал "обезьяньи грамоты": жалованье обезьяньего царя о возведении в кавалеры обезьяньего знака, украшенного виноградом, турецкими бобами, лисьим хвостом, египетской пирамидой, все по человеку, и разрисовывал обезьянью печать, и каждый раз по-другому.

И что я заметил, мои грамоты принимались с добрым чувством: я помню, как читал свою Анатолий Фе-

дорович Кони, как слушал Зигфрид - Иван Васильевич Ершов, когда на юбилейном спектакле в Мариинском театре ему читали всенародно, вижу и Федора Кузьмича Сологуба, всегда сурового, вдруг улыбнувшегося на свой знак, и А. М. Горького, возведенного в "князья обезьяньи"; втянув воздух и раздувая ноздри: "Из рода Пешковых (ударение на "о") - князь, какие же мои обязанности?" Я сказал: "никакие". Так, по обезьяньей конституции.

Но подумал, как всегда думал, что только в беде и чужде знает человек: что человек человеку должен. И всего единственный раз мне показалось... действие, произведенное моей грамотой, было совсем не то и все не так.

Игра в обезьяньего царя - театр без грима и масок. Исключение: дети - я их красил, их рожицы и руки. Счастливые они уходили от меня; они не подозревали, какое доставляло мне удовольствие - эти краски по живому, смеющемуся материалу.

Был случай, обезьянья палата держалась на ниточке.

Обезьянье делопроизводство велось не на кириллице, всем понятной, на ней пишут книги и прошения, а на "глаголице", о которой редко кто слышал.

При обыске обратили внимание на фигурки - ничего понять невозможно. Сам нарком по просвещению Луначарский не понимает! Будь это в Москве, с Каменевым легко поладить, но в Петербурге Зиновьев. Пришлось подымать Горького и научить его ответу. И Горький объяснил Зиновьеву, что фигурки - глаголица, а глаголица не шифр, не криптография, тайнопись, а буквы нашей первой азбуки. "Наша первая азбука, - сказал Горький, - глаголица, ученые думают, ее, а не кириллицу изобрели первоучители славянские, святые Кирилл Философ и Мефодий".

Наши гости

ВЕЧНЫЙ

Я заметил, что в снах в какие-то свои сроки возвращается одно и то же событие.

С детства мне снится "конец света".

В первый раз, как попал я в тюрьму, узнаю обстановку из моего сна. Это было в Москве - "Каменщики" (Таганская тюрьма). Я на тюремном дворе, на прогулке, ранний час, гуськом ходим по кругу, под ногами снег, и крыша белая в снегу. И вдруг вижу: месяц, в чепчике, не простой, а розовый - все, что осталось от луны, когда "померкнет солнце". И не страх, не освобождение, а безнадежность: мои человеческие силы еще не изжиты, а ждать нечего, насильно и бесповоротно обрывается нить жизни.

Тот же сон в Париже, но не тюремный круг, а лестница: подымаемся все мы, застигнутые концом, мы, последние на земле. Лестница парижской префектуры. И то же чувство: В Москве бесконечный круг, в Париже подъем в бесконечность, - безнадежно.

Оказывается, есть и у Гоголя это повторяющееся чувство снов. Крысы городничего: "две необыкновенные крысы, черные, неестественной величины: пришли, понюхали и пошли прочь". То же крысиное чувство "неизбежности" в "Страшной мести" - колдун, после убийства схимника, видит, как из-за леса подымаются тощие сухие руки с длинными когтями: "затряслись и пропали".

Да, как и в снах, не поддающихся исчислению, так и в жизни с числом и мерой та же периодичность:

через какие-то промежутки времени - свои сроки - возвращается то же самое событие.

* * *

Случилось в Петербурге в незапамятные времена, в первую революцию, 1905 год, в самый рассвет русского символизма и начала, что потом назовут "формализмом", - литературное направление, провозгласившее самостоятельность и независимость слова, с попыткой оживить искусственную книжную речь, сложившуюся по многоязычным образцам, природным русским ладом, явление общевосточное: Китай, Персия, Турция и Россия мысль одна. В такое-то историческое время объявляется в Петербурге немецкий поэт, родом из Митавы, Johannes von Günther.

А приехал Гюнтер из Мюнхена прямо от Стефана Георге (Stefan George) и возгнездился у нас, на Песках - 5-я Рождественская. И пущен был слух, будто я, не знай с чего (тогда о "безобразии" не говорилось), выпустил Гюнтера гулять по Петербургу и что вовсе это не Гюнтер, а кто именно, неизвестно.

Насыщенный немецким романтизмом, был грех, не предупредя, я разыгрывал сцены из той же комедии Христиана Дитриха фон Граббе, и никому в голову не приходило, что это не только "шутка, сатира", но и "нечто поглубже". И то правда, таскал я Гюнтера по знакомым и даже мало знакомым, и все под разными именами, и так бывало, что в одном углу он под Иваном, а в другой перейдет Петр. И не было литературного вечера или собрания с писателями, где бы не выступил Гюнтер: и как он выходит читать и как читает, все в нем видели самого Стефана Георге. Такое впечатление осталось у всех на Таврической "Башне" у Вячеслава Иванова с первых стихов, прочитанных Гюнтером, и распространилось по Петербургу. И уж на Васильевском Острове в училище Ф. К. Сологуба Гюнтер и без моего подсказа выступил как Стефан Георге. Приехавший в ту пору из Швейцарии, из благодатного Коппе Л. И. Шестов, горячо верующий во всякие мои были и небылицы, поверил и в Стефана Георге и только

одному удивлялся, что знаменитый немецкий поэт так чисто говорит по-русски.

И теперь самостоятельно, без меня, Гюнтер таскался, куда только ему вздумается в любой час, без времени и без надобности. И везде его принимали с "распростертыми объятиями", и он "выходил" и читал стихи зловеще-мрачно, совсем не к лицу своей здоровой юности - но все так читал, ничуть не похожий на него, весь изборожденный стрелою точных слов, немецкий - Малларме Стефан Георге.

* * *

Я написал письмо Брюсову. Брюсов не археолог, письмо мое не сохранилось. А жаль, вот было б любопытно: какими розами я осыпал Стефана Георге! - и только в конце письма приписка: "податель письма Гюнтер".

С моим письмом Гюнтер ездил в Москву. И вернулся для нас неожиданно: что-то уж очень скоро - или по неопытности "в дороге издержался", я не спрашивал.

Наша "столовая" завалена книгами - московские издания с автографами: на одних - "Ивану Ивановичу Гюнтеру на добрую память", на других значительно - "Гюнтеру Зайцев", попадались и признания - перо невзыскательное - "великому немецкому поэту Стефану Георге", а от самого Валерия Яковлевича с припиской под Иван Иванычу "пламенно".

Москва, замученная брюсовскою книжностью, опытами и теориями, расцвечивающаяся бенгальскими огоньками раскатывающегося, на Заратустровых роликах, по московским бульварам Андрея Белого, - где и у кого было найти хоть блестку юмора старинных московских "дураков" и раешников? Москва тянулась к оккультизму, Апокалипсису и к заунывному Художественному Театру, где все было "как в жизни".

Петербург, возглавляемый Леонидом Андреевым, роковой, безулыбный, в диком исступлении Достоевского и безо всякого ремесла.

Откуда-то из Нижнего пер Горький.

Что Стефану Георге до Горького, тоже и с Леонидом Андреевым котят не крестить. Гюнтера заманивала Таврическая "Башня" - "универсализм" Вячеслава Иванова, а кроме того, "теплое местечко", наши Пески - 5-я Рождественская, этим объясняется его скоролетное возвращение из Москвы.

* * *

За два месяца наша "столовая" в одно окно, книжный склад с готическими рукописями-стихами и туалетными принадлежностями: щетки, пилки и подпилки. По примеру Гюнтера, чищу себе сапоги по-мюнхенски: только носки взглянцую, а на все остальное плевать, так и вправду казистей.

Мы ютились в наших тесных комнатах, каждый у своего стола.

Подымался Гюнтер в обеденный час, занимал ванну и высиживался основательно - звони, стучи, в окно барабань, все зря: или он там стихи сочинял - вдохновение, как известно, непроницаемая завеса. В вечерний час он покинет столовую: все вечера были разобраны среди знакомых, - только в эти часы мы чувствовали себя у себя.

Если бы Блок записывал тогда в дневнике, как потом, непременно встретилось бы это загадочное имя, сопровождаемое кротким вздохом:

"Господи, когда это все кончится?"

* * *

Гюнтер, само собой, "в дороге издержался". Везде угощали его, но не всегда бесплатно. А пора было возвращаться на родину в Митаву.

Правда, в авансе ему не отказывали: за одно имя Стефан Георге как было не поверить. И что странно, кто в те годы в России знал это громкое имя, да и в Мюнхене-то наперечет. Тут действовала сила убеждения, с какой произносилось: Стефан Георге.

Наконец-то мюнхенский чемодан и наш петербургский - я готов был пожертвовать еще и вятской корзинкой - доверху набиты авторизованными книгами, а

поверх для крепости еще веревкой стянуты. Трогательно простились. Такой уж закон жизни: как бы плохо ни было, а прощаться с местом ли,с человеком ли всегда по-хорошему.

Гюнтер уехал. Слава Богу! И чего-то жалко. Но я не успел прибрать ванную комнату, как со всеми чемоданами Гюнтер ввалился в столовую: опоздал на поезд.

И было такое, что теперь уж на веки вечные, и ни нам не избавиться, ни ему не уйти от нас.

И начинается перламутр.

* * *

Гюнтер уверял, что завтра он на поезд не опоздает, а между тем чемоданы были раскрыты: ему понадобилась рукопись - "только на сегодняшний вечер". А назавтра, когда, казалось бы, надо укладываться, что-то опять понадобилось - "только на сегодняшний вечер". Так день за днем. И уж через неделю не было и речи об отъезде.

За все дни, вечера и ночи я приглядывался к нашему "вечному гостю", я заметил, что он не "робкого десятка". Я тоже храбростью не похвалюсь,вздрагиваю от шороха, но не полыхаюсь и в забвение не впадаю: все мои страхи окоченевают в "будь что будет".

Но есть другое - страх всеобъемлющий - это как льдом полыснет по сердцу и заморозит все существо, это опустошение всех чувств и заполненность одним "самосохранением". Такими родятся, и переделаться нельзя. Приписать им звериное начало едва ли будет правдой: конечно, на окрик зверь побежит, но ведь есть и такие, что упрутся.

Гюнтер любил рассказывать о своих предках - бесстрашных ливонских рыцарях. Но из того, как он это рассказывал, я окончательно понял, что сам-то он одержим страхом.

Из Херсона приехал "турецкий поэт" Илья Аронович Тотеш. И совершив омовение по их закону,не рас-

кладываясь,прямо на 5-ю Рождественскую. Дверь ему открыл Гюнтер.

Восточное обличье Тотеша поразило Гюнтера. Да и было чему удивиться: Тотеш родом из Херсона, а вернее из "Тысячи-и-одной-ночи".

"Кто этот марид?" - с подозрительным любопытством спросил Гюнтер, когда херсонский джин, пробыв у нас час - мы были очень рады нашему восточному гостю - сверкнул белыми парусами своего черного моря и исчез, как летучий ифрит.

И вдруг меня осенило, и все пошло в игру:

"Это Савинков, - сказал я, придав голосу, глазам и спине отчаянную конспирацию, - Борис Викторович Савинков приходил предупредить: завтра на нашей 5-й Рождественской вооруженное восстание".

Наша квартира - 1-й этаж (по здешнему рэ-д-шоссе), Гюнтер сразу сообразил: пальнут, не выскочишь. И заторопился: не откладывая, сегодня же ехать. На этот раз для верности я вызвался его проводить.

На двух извозчиках ехали мы на вокзал: у каждого по чемодану, а у моего извозчика в ногах к хвосту моя вятская корзинка, книги - последняя недельная добыча с "доброй памятью" и "восхищением".

Я посадил Гюнтера в вагон. И пока не тронулся поезд, я оставался на платформе, не выпуская из глаз.

Он был очень взволнован - с каким нетерпением ждал он третьего звонка. А что завтра будет с нами, об этом и мысли не было. Так необъятен был его страх и неисчерпаемо чувство, что опасность миновала.

Возвращаясь с вокзала, я думал о подлинно великих глазах страха: эти страшные глаза можно сравнить только с не менее великим глазом ревности.

"Страх" и "ревность", вот два чудовища, перед которыми и сами кровавые реки, загнившие рыбы, жабы, мошкара, песьи мухи, мор, язва, град, саранча, тьма и смерть - все египетские казни только преходящая напасть.

А какая была миссия Гюнтера? Это я уже потом спросил себя. И раздумывая, отвечаю, что в явлении Гюнтера было "нечто поглубже", чем одно мое невинное "безобразие". Гюнтер появился в Петербурге для того, чтобы в обход и наперекор "среднему читателю" с зубами на "понятное" и "общедоступное", никогда не создающее литературной ценности, прозвучало по-русски и вошло в русскую словесную культуру рядом с французскими именами: Бодлер, Рембо, Малларме - немецкое имя: Стефан Георге.

ВОСТОЧНЫЙ

Появившийся в роковой день: "завтра вооруженное восстание на 5-й Рождественской" И. А. Тотеш - "Б. В. Савинков" в глазах Гюнтера - на самом деле к Савинкову лишь сбоку припека. Едва ли Савинков и вспоминал когда студента Петербургского университета, однокурсника, непременного участника всякой демонстрации, но никак не деятельного, а лишь выпиравшегося своей характерно восточной внешностью. А приехал Тотеш, само собой, не по делам "боевой организации", а чтобы, осмотрясь, ехать на Дальний Восток за кетовой икрой: этот оранжевый жемчуг впервые тогда показан у Елисеева и Соловьева, особенно привлекал падких на "дернуть и закусить".

После Вологды я поступил в театр к Мейерхольду, и жили мы в Херсоне. Тотеш - херсонский, первый суконный магазин, отец его, если не голова, то во всяком случае, один из столпов города, имя известное. В провинции театр приманка. Так мы познакомились с Тотешем, и он часто бывал у нас. А теперь в Петербурге заменил нам Гюнтера - наша столовая в его распоряжении.

И уж не было литературного дома, где бы не появлялся Тотеш. Я всюду его таскал с собой, выдавая за турецкого поэта Фуад Намыку.

"По-русски не понимает, не стесняйтесь!"

Усядется Намыка в уголку, и только взблескивают белые паруса его Черного моря - ни слова. И в этой тишине какое спокойствие, какая мудрость, загадка и волшебство.

Блок, чувствительный ко всякой подделке, а сам неспособный ни к какой игре, здороваясь с Намыкой, не мог сдержать добродушной улыбки, любя и понимая мою игру.

Под конец вечера Намыка читает стихи,единственное, что знал Тотеш по-турецки, неизменно одно и то же:

айда̀ йильда̀ бир барым
акла̀ ӯйма джибигим (чипиим)
акылджыгы̀м сэн алды̀н
джо̀йма сакла̀ джибигѝм

Хоть один раз в месяц, в год
Не слушай рассудка, цыпка моя,
Это ты похитила мой умишко,
Не потеряй его, береги, цыпка моя.

И всякий раз с каким желанным сердцем слушают это только звучащее без смысла "бир-барым". Или это наша благодарная память: все стерто, изукрашено версальскими и потсдамскими садами, а из веков бегут, не иссякая, монгольские ручьи. Сам Вячеслав Иванов со своим кругосветным знанием и случившийся наездом из Москвы великий книгочий Брюсов, оба не понимали по-турецки, но по их лицам я заметил небезразличное внимание или относительную "восторженность".

Окончив стихи, Фуад Намыка становился на колени перед хозяйкой, молча прикладывал руку к своему сердцу, потом ко лбу и, поблескивая белыми парусами своего Черного моря, молча следовал за мной - торжественная минута.

С месяц, по крайней мере, я всех туречил, и ни разу Фуад Намыка не проговорился. И только у Бердяевых вышла заминка: Тотеш расшаркался русским отчетливым ртом, не устояв перед сочиненной мной

"египтянкой, не говорящей по-русски". К счастью, я вовремя прекратил, и упрекая, не турку, а себя в забывчивости: для нас не тайна, что у Фуад Намыки о ту пору было тридцать невест, не считая случайных,и был он той бабочкой,которую тащить на огонь, что ломиться в открытую дверь.

* * *

С революции (1905) в Петербурге поселилась Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс и Гарольд Васильевич. Я бывал у них.

Гарольд Васильевич филолог, а кроме того,исследователь Свифта. Я нашел в Свифте себе отклик: его "лошадиное царство" - это ведь мое обезьянье - мой "обезвелволпал", но у Свифта какая жестокость и презрение к человеку. И что повлекло чистейшую душу Вильямса к этому человеконенавистнику,так и осталось у меня тайной.

Я обещал Вильямсу привести к ним Фуад Намыку. И предупредил Ариадну Владимировну: хорошо бы встретить его по-восточному - устроить досторхан: халва, шептала, рахат-лукум.

Но какая там халва - досторхан превзошел все мои ожидания. Чего только не было приготовлено для приема турецкого гостя: сирийские яблоки, турецкая айва, оманские персики, дамасские гранаты, багдадские дыни, египетские лимоны, султанские апельсины. А на подносах со сластями и печеньем: плетеные пирожные с мускусом, пастила, пряники, марципаны, гребешки Зейнаб, пальцы, зубы и глотки кади. И все это - глаза разбегаются - в цветном поле, затенено цветами: мирты, хенны, ромашки, анемоны,фиалки,душистый шиповник.

Я подталкивал моего турецкого спутника, восхищаясь, но он держался, вынося все мои соблазны, и всего попробовал, не проронив слова.

Пили чай, а потом, как обычно, Фуад Намыка читал свои турецкие стихи:

айда́ йильда́ бир бары́м
акла у́йма джибигим
акыл джгы́м сэн алды́а
джо́йма сакла, джибиги́м (чипиим)

Хозяин и раньше, я заметил, пытался что-то говорить, но после стихов, желая сделать приятное гостю, заговорил громко - по-турецки. Его заинтересовало,почему Намыка "джибигим" произносит "чипиим"? Мне и в голову не пришло,что могло выйти такое "недоразумение",хоть я и знал,что Вильямс долго жил на Востоке и все восточные языки ему покорились.

Не зная,что и делать,я заторопился домой, в то время как Тотеш, стоя на коленях, прикладывал себе руку к сердцу и ко лбу, и белоснежные паруса его Черного моря вдруг посинели: по-турецки ему ни говорить,ни писать.

Ариадна Владимировна прямо сказала:

"Давайте говорить по-русски. И как вас по-человечески?"

"ИльяАроныч, - провещал Фуад Намыка, - слушаю и повинуюсь".

И все мое пропало - весь досторхан исчез, как выпылился.

Это было последнее выступление турецкого поэта Фуад Намыки, да и пора было Тотешу в дорогу: жемчужная кета ждать не будет - живо выловят ее японцы в Японском море.

Какая же была миссия Тотеша? Так спросил я себя, когда о черноморском Илье и спросить-то стало не у кого. Дядька его Моисей сто лет как помер, а все знают: "Как же, говорят,глухой, это у них в роду: правое ухо", а про Илью ничего.

В явлении Фуад Намыки соединился Ближний и Дальний Восток напомнить русскому сердцу о своем братском сердце и общей нам родине глубокой мудрости тысячелетних снов: Азия.

ЛЕШИЙ

После Стефана Георге и Фуад Намыки Петербург опустел. Приезжал какой-то швед, но ему надо было по верхам лазить, да и недолго он по Невскому жмурился, улепетнул назад в Стокгольм. Я только и успел снабдить его "информацией": кто из петербургских знаменитостей, имел в виду Мережковского, и о каких Навохудоносорах сочинение пишет. А на показ швед не поддался - так Стриндбергу и не пришлось выступить - а имя громкое.

Самому себе очень просто надоесть. С самогоном не очень развернешься. А свои с бездонных-то где найти - уж очень быстро исчерпываются. И я уж присмотрел замену: Леший. Вы не верите, могу повторить: Леший.

Это был латышский поэт, стеснявшийся своего имени: в Риге в том же самом доме жил сапожник Карл Роберт Якобсон, и всегда их путали; пробовал менять квартиру, но,как нарочно,во всяком доме обнаруживался свой Якобсон, и начиналась по-прежнему путаница.

И стал я Лешего таскать с собой по гостям. Большие у меня были надежды, но вижу, дело не выходит: не Стефан Георге, не Фуад Намыка, латышским писателем кого удивить. Якобсонов в Петербурге миллион, а что вид у него самый зверский, этим нас не удивишь. Накормить накормят, а читать никто не попросит.

Еще с неделю без выпуску просидел Леший у нас в столовой: я был его единственный слушатель.

По-латышски я ни слова, но всякий раз как он читает свое

- Айя жу-жу -

я с ним попадал в лес, и с каждым стихом его забираюсь глубже - он читал не горлом, а нёбом.

Особенно затаенными вечерами - не зажгу света - в окно дождик, петербургская осень - косматый-клокастый, из-под журых глаз мне светит. И заводит -

- Айя жу-жу -

И я жил у медведей - с медведями играл и обнюхивался, и у оленей - с оленями мерился бегом, рогами и хвостом. И меня никто не тронет. Я свой - зверь -

кто оленюшке, кто медведюшке
в лесе колыбель повесил...

Никому не хочу навязывать Лешего: Леший приходил ко мне - за мною. Я писал тогда мою "Посолонь".

акробат

Зосима Злобин весной появился в Париже из Москвы с театром. И до глубокой осени не оставлял нас, днюя и ночуя в нашем Булонском вертепе: наша квартира - под боком лес, из Парижа нарочно приезжают, а нам за дверь и попал.

Зосима стихами не занимался - нынче всякий лентяй пишет стихи - молчальник по природе. Не одиночка, в Вологде такие нетопыри водятся в изобилии: леса, реки и белые ночи с комарами замалчивают душу.

Акробат, - выйдешь с ним на Елисейские поля, наше avenue Jean-Baptiste-Clement идет до остановки автобуса "колесом", прохожие только пучат пялки, а автомобили рукой машут, скрежеща: "salaud". Или примется прыгать с палкой через голову, и все на людях, смотреть жутко: вот шею себе свернет, а бережливому страшно за его палку, выдержит ли и надолго ль?

Зосима и фокусы показывает, глазам не поверишь. Не говоря ни слова, воткнет себе в руку английскую булавку, зашпилит и, передохнув, вытащит. И получается только ссадина, ни кровинки.

Много тыкать он не соглашался, а очень всем это нравилось: "проткни еще!" - так скажут: на противоприродное глаз человеческий жаден.

И в хиромантии немножечко понимал: по руке судьбу расскажет - в линиях и загибах по пересеку доберется до самого "было" и "будет". И на картах погадать может. Я ему подсовывал Сведенборга и тибетские Бурхан-Мандшьшира - "не годятся". Я понимаю, ему давай не картинки, была б масть и число: самоговорящие картинки закрывают соображение и догадку и гасят игру гадальщика.

С фокусами выступал Зосима на Тверском бульваре, когда по образу "Ломоносова" появился он из Вологды на Москве. Это было в годы "военного коммунизма", и не очухавшись, попал он в клещи кругосветного мошенничества по "бедовому декрету". А пришел он из Вологды в Москву учиться. Да всему. Как когда-то и я, попав в Университет, мечтал пройти все факультеты. Колесо и палка обратили на себя внимание. И первой премудростью среди наук, которую постиг он, были танцы. Бросил он Тверской бульвар и заделался учителем танцев.

С лица малозаметный: безрастительная, серая вздернутая маска с крепким белым оскалом, но мне знакомое и памятное по старинным гравюрам: шпильманы, игрецы и гудцы. И особенно глаза - побуревшая китайка окружила их, будто выжжено, а из выжига, бесцветные, они светили и таращились.

Жадность его к образованию, все знать и всему научиться, превысила всякие примеры из нравоучительных книжек: он садился за книгу и не прерывал чтения, пока не кончит, случалось - с утра до глубокой ночи.

Появление в России за последние годы "Бенедиктинских" ученых трудов с указателями только и мыслимо при таком вот упорстве и непрерывности.

Вечерами, как всегда, я читал вслух. С каким неморгающим вниманием он слушал меня. Особенно его тронула сказка Л. Н. Толстого о "Трех старцах" - это восхищающее чудо - крылья веры, а из Тургенева "Живые мощи" в моей редакции (снимаю сюк и сахар с барской манеры сказа) - какая горечь жизни. И из

Слепцова "Питомка" - о утрате и ожесточенных поисках навсегда утраченного.

Зосима, не в пример другим наброжим, помогал нам в хозяйстве. Впрочем, мы были исключением. В Париже с кем только он не познакомился, и все были для него "сосок": ему надо было всех использовать и урвать все, что только возможно, чтобы осуществить свою заветную мечту.

Он приехал в Париж вовсе не для того, чтобы учиться, а чтоб, как сам он признавался,"стереть в порошок Европу" и своим акробатическим искусством побить морду и самому первому европейскому гимнасту.

Время показало, что на "колесо" и "перепрыгнуую палку" зевали только мы да наши булонские соседи, а тем, кто в этих акробатических делах разбирался, ничего особенного, и что тут этого добра не занимать-стать. И пришлось подумать о возвращении в Россию.

Прощались мы по-братски, мне было очень жалко Зосиму: размахнуться - и впустую. В прежние годы ехали в заморские страны уму-разуму набраться, а его дернуло - знай наших!

На эту удочку не один Зосима попался, ну, и в том толк, без задору не проживешь.

ГОЛЛАНДЕЦ

Как когда-то в Берлине, появился внезапно Пильняк, так нежданно-негаданно в Париже голландец Вангульд*. Что Пильняк - понятно, тогда молодой литератор, было общее, и о чем спросить, и чего сказать друг другу. Но Карл Вангульд, агент страхования жизни, какими судьбами он попал к нам, неисповедимо.

**В других местах рукописи: Вангруд и даже Вангрут.* (Прим. ред.)

Карл Вангульд попал к нам, чтобы жрать и разговаривать. "Жрать" не потому, чтобы нуждался, а потому, как сам он выразился, что "предпочитает домашний стол" - в ресторанах и дерут, и кто их знает, чего еще подвалят. А "разговаривать" - "для практики русского языка".

Всякое утро Вангульд появлялся у нас в 11 пить кофий. Первый кофе он пил в своем отеле по соседству на rue Pierre Guérin - разве это не судьба, соседство?

Утренние часы присутствие постороннего, за которым надо еще ухаживать, сущая напасть. Впрочем, Вангульд с первого дня заявил, что он "не стесняющийся". Он подбирал со стола все, что случалось у нас, добытое правдами и неправдами, пьет и ест медленно, пример, как надо разжевывать и, разжевав, глотать.

После кофею я мою посуду. А он сосредоточенно высиживался, и видно было, старается ни о чем не думать, чтобы не мешать пищеварению. Для меня было самое нетерпеливое ждать это голландское пищеварение. Оправившись, Вангульд уходил по своим делам.

Час наших раздумий - когда нет денег, чай с хлебом заменял обед, а теперь надо было непременно что-то готовить.

К обеду возвращался Вангульд, тщательно мыл руки и садился к столу. И, как за кофеем, жрал со всей медлительностью и расстановкой все, что тащу ему из кухни в "кукушкину". А когда потом на кухне я мою посуду, он усаживался за мой стол писать в Амстердам письма. И писал он не торопясь, с прохладцей и любованием - каллиграф.

Как-то, оттого ли что у меня душа впечатлительная и застенчивая, у меня сорвалось - я заметил, что в отеле есть стол и бесплатно дают бумагу и конверты.

"Но там стол качается!" - отозвался Вангульд.

Высидевшись за письмами, Вангульд уступил мне стол и отправился мыть руки. И то же, как с пись-

мами,не сравнить ни с какою медленностью - в хвосте стоять не так чувствительно.

Обыкновенно всех своих наброжих привязанностей я водил с собой. Исключение Вангульд. Он самостоятельно с моими рекомендательными письмами шел по нашим знакомым - "для практики русского языка". А если вечер был не занят, за вечерним чаем я читаю - он слушал необыкновенно внимательно, глотая глазами и ухом - "для практики русского языка". Потом разговаривали: он говорил по-русски,а я поправлял.

Книжниками не делаются,а зарождаются. Вангульд не помнит, когда б он не любил книгу, а собирает книги - с колыбели. По крайней мере, в пять лет у него была своя библиотека, собранная на шоколадные и игрушечные деньги.

Из современных писателей он облюбовал меня. У него были все мои книги - и русские и заграничные издания - а все, что появлялось в газетах и журналах, он вырезал и наклеивал.

Чем я его тронул? Мое - такое не голландское. Голландия, оттолкнувшая Петра от природно-московского. Амстердам и Москва, не знаю,с какого конца подойти, такая разноголосица.

Коверкая ударения до неузнаваемости слова,Вангульд на память произносил фразы из моей "Посолони" с той же сосредоточённостью, не спеша, как ел и писал письма.

Другим его литературным пристрастием был немецкий поэт Гундольф из школы Стефана Георге. А все заключает Джойс: Вангульд знал не только "Улисса", но и комментарии.

По-немецки и по-английски он не вывертывал слова, как по-русски, до неузнаваемости.

И очень чувствителен к музыке. Но без толка глухой. Совсем не то что у меня - я музыку чувствую и без оркестра,я вдруг пронзаюсь музыкой,и все во мне поет. У него никакого голоса, о музыке он не "думал", но под музыку он умиляется,как при чтении "Посолони", стихов Гундольфа и страницы "без передышки" Джойса.

За стеной передают Бетховена. Вангульд отодвинул чашку - чай он любит моей заварки - и вдруг поднялся:

Alle Mänchen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt...

без слуха на стертых глухих нотах, но как под стать выпевал он этот лавочный пошленький мотив, какой убогой человеческой радости! Вырвавшийся из звездной музыки нечеловеческих высот.

* * *

Вангульд приехал в Париж на неделю, а вот уж и третья кончается, прижился, а главное: "практика русского языка".

Рассчитывал я получить деньги, но со мной всегда история: или забывают, или оттягивают. Но с меня-то ведь требуют, и как объяснишь. Обыкновенно не верят и в лучшем случае с упреком и "вторичным" напоминанием терпят, а то просто требуют без никаких. Денег вовремя я не получил, и закрыли газ.

"Закрыли газ, - сказал я Вангульду, - придется питаться всухомятку".

"А что такое сухомятка?"

"Да так, без горячего".

"Очень интересно. Я буду всухомятку".

Как с газом, так и без газа, всякое утро неизменно в 11 появляется Вангульд пить кофий. Очень хлопотно было на спирту готовить. Медлительность, мне всегда тягостная, для него проходила незаметно, он принимал ее за основательность.

А "сухомятка", интересная как слово, ему не очень понравилась: день-два без горячего еще коекак, а на третий, искренно удивленный, что и опять без супу, он попросил меня написать рекомендательные письма "для практики русского языка", но в такие дома, где едят не "всухомятку".

У всех еще в памяти "6-е февраля", и хотя лето загородило это "парижское восстание", я схватился за него, вспомнив магическое действие моего "вооору-

женного восстания" на 5-й Рождественской в Петербурге в 1906 году: случай с Гюнтером. И за кофеем "всухомятку" напомнил Вангульду недавний "трагический" случай, когда на Конкорд какого-то депутата выпороли, и что снова предполагается и потому в Париже небезопасно.

"А я не буду выходить на улицу", - безо всякого безпокойства, а даже с каким-то удовольствием ответил Вангульд.

Где было искать спасения - мое испытанное верное средство, "страшные слова", оказалось впустую. Вангульд не поддался. И мне ничего не оставалось как только покориться своей участи, - как это бывает во сне, терпеть, пока не проснешься.

Так однажды я проснулся: Вангульд, закончив свои дела по страхованию жизни, исчез.

Но долго еще мне помнился этот сон, и если мне случалось при знакомых, однажды получивших мои рекомендательные письма, к слову сказать "возвращается" - у всех расширялись глаза и в зрачках показывался "глаголь" - я читаю "голландец".

Или явление голландца так надо понять, что русскому без голландца не прожить и история России без Голландии немыслима - Петрова печать.

ЗОЛОТЫЕ ТУМАНЫ

Умный человек, какой бы он ни был, всегда ответствен. Можно себе представить, как в известных случаях он поступит, или проникнуть в игру его мысли. Умного можно рассчитать и расчислить - уместить его ум, с дурака же не спросится: "на дурака нет закона" - нет меры. Сколько дураков, столько и дурей. Дураки есть всякие: и мрачные, и веселые, но дурь одна - всегда неожиданное и ни на что не похоже.

Он приходит ко мне в час непоказанный: в половине двенадцатого. И сидит в "кукушкиной" до двенадцати. В двенадцать я выхожу на кухню готовить себе обед, а его за дверь. Так повелось, раз в месяц: мне не помеха, а ему не в обиду.

Вчера я воспользовался его приходом и попросил купить папирос: самому мне это очень трудно,ведь надо переходить улицу - и настоишься на углу,а главное, мое заячье осматривание по сторонам, шею свернешь.

Я дал "Африканскому доктору" сто франков на два пакета. Табачная два шага. Но он ходил дольше, чем полагается: я подогрел субботний суп и взялся за кофий, - видно, в бистро он воспользовался случаем и дернул. Вернулся оживленный - два пакета на стол, сдачу в кошелку - на духовом шкапу коробка для мелочи. И засел.

И сидел он больше обычного, рассказывал о докторе Серове, как в ту еще войну служил у Серова под его начальством в санитарном отряде - воспоминания беспредметные - повторить нет возможности,но чувствительные.

Говорит Африканский доктор без остановки,вразбивку: слова вылетают пробкой.

Я пил кофий.

Потом вымыл посуду, вытер руки и простился, не дождавшись конца рассказа, да все равно, в воспоминаниях какие же концы.

В пять пришел Зяблик проститься и с новостями о переводе моей книги. Он очень смешил. А я должен был отыскивать рукопись, что при всем моем порядке, а мне самое трудное. И когда наконец я нацелился тащить из-под бумажной груды мои "Подстриженные глаза", кто-то позвонил.

"Вот, - думаю, - напасть, ну, все равно, буду продолжать поиски, объясню".

Отпирая дверь, нацелился объяснить, но это - консьержка. Без объяснений она подала мне завернутое, как порошки из аптеки,сразу на ощупь я понял, что это какая-то монета с империал.

Думаю, кто "золото" и через нашу консьержку с глазами василиска? Не персиянка ли? Может, у них такой обычай дарить "золотые туманы", не на новый год, а в память встречи. Персиянка вчера приходила: на ней крокодиловые ботинки,а в лице - тусклой серебряной монеты - "золотые туманы".

И я размечтался, как с "золотым туманом" я заплачу налог, за отопление, за электричество,за газ и долг мой Зяблику.

А консьержка, передав мне эти золотые "порошки", не дура, ждет. Я уверен, что она думала, что это "луидор", и вот отчего неурочно поднялась ко мне.

Я ей дал десять франков.

При Зяблике мне показалось неловко вскрывать "порошок", я так поверил в "золотые туманы" - ведь это после объяснений,что я не могу заплатить долг. И только когда Зяблик ушел,я с большим трудом, так было крепко заклеено, вскрыл "порошок".

И никакого нет золота, а франк. И на рецепте пишет:

"Возвращаю еще один франк
сдачи, который заплутался
в подкладке кармана.
Ваш Африканский доктор."

Ну, разве не дурак?

ТРИ ВОЛХВА

Самым близким я чувствую Э. Т. А. Гофмана; самым созвучным из музыкантов Мусоргского,а из художников назову фламандца* Питера Брейгеля.

Мусоргский осуществил музыкальную легенду Гофмана-Крейслера, а Брейгелю надо было родиться со

**Так в рукописи. Питер Брейгель Старший - нидерландский художник.* (Прим. ред.)

зрением Гофмана,чтобы чаровать тайной звучащих красок.

И это ничего не значит,что моя незаметная жизнь годами удалена от этих громких имен: проникновение человеческого духа безгранично и вневременно - и у меня такое чувство, точно с каждым из них я прожил жизнь.

* * *

Брейгель (1525-1569) при царе Грозном, в век первопечатника Ивана Федорова,в последние годы мастеров-книгописцев, с которыми нераздельно мое каллиграфическое искусство. И как может быть бесследен для меня этот горький век? И разве могу забыть я пожар Печатного Двора на Никольской в Москве - дело вот этих, вспыхнувших от отчаяния рук.

Э. Т. А. Гофман (1776-1822) едва ли не самый первый по влиянию на русскую литературу: на Пушкина, Гоголя и Марлинского, а через них на Толстого и Достоевского или, что то же, на всю русскую библию, через которую неминуемо проходит всякий русский писатель.

Мусоргский (1839-1881) - я его застал на земле,но лишь в год его смерти начинается моя горькая память.

* * *

Провалы времени меня отделяют от них, но своим вневременным я чувствую, что я не только жил с ними в их век, но принимал участие в их работе - их огнем горел, Гофман, Брейгель и Мусоргский. И это не зря они мне снились и я говорил с ними,как днем с живыми говорил бы.

* * *

Елка не московское, елка на Москве с Лефортова, не свой, чужеземный обычай. Наш дом старозаветный, и мы не знали ни о какой Рождественской елке. Но когда я прочитал гофманского "Щелкунчика",я принял эту сказку на себя - о бывшем однажды со мной.

Мечтая, как Маша (говорю по-русски),я с нетерпением ждал таинственную "Вайнахтсбаум" и в воображении с восторгом глядел на светло украшенную тоненькими свечами зелено-темную елку - тихость душе; сердцу тепло. И все видения этой подсолнечной птички были моими видениями: я чувствовал себя Машей, как будто Маша была мною. Не нашлось у меня только крестного - никого среди родных,кто бы сказал мне, как Маше, над "фантазиями" которой, как и над моими "сочинениями", все смеялись и даже называли "лгуньей", а про меня - "все врешь":

"Не слушай их,тебя одарил Бог получше,чем всех нас, ты родилась царевной и умеешь царствовать".

В рыскающей волне и щемящих голосах музыки Мусоргского я расслышал и тот голос, что тронул меня в русских старинных церковных напевах. А буревая песня московской метели и звенящий трепетный говор в небесах в "чуде" у святого углицкого колодца - да ведь это извечно поет во мне.

Когда в первый раз я увидел "Вифлеемскую перепись"*,я как сам побывал в заброшенном фламандском селе "Вифлееме", где чудо Рождества Спасителя мира закреплено в кругу своих земляков-фламандцев на этой земле под "нашим" небом. И не могу себе представить, как иначе изобразил бы я евангельское Рождество.

* * *

Волхование, музыка и волшебные краски моих братьев пусть осенят мою память, и я передам моим бедным словом по-русски чудеснейшее из чудес, совершившееся однажды на земле - "скорбящей и озлобленной, помощи требующей".

**Полотно Брейгеля "Перепись в Вифлееме" (1566),музей в Брюсселе*. (Прим. ред.)

Разное

ЛУПА

Это увеличительное стекло в зеленой оправе под яшму мне досталось от профессора Ильи Александровича Шляпкина, учителя Серафимы Павловны.

И. А. Шляпкин - профессор Петербургского университета и Археологического института: русский язык и вещевая палеография.

С. П. меня и познакомила.

Мы ездили к Шляпкину в Белоостров. По воскресеньям у него собирались петербургские гости в его несуразном, не знаю с чем и сравнить, деревянном узорчатом доме. Такое было чувство: комната лезет на комнату лесенкой: ни дверей, ни окон, а лазейки и проруби. И все закутано, занавешано и устлано коврами и заставлено редкостями и мелочью. И в каждой клетушке тикают часы. Внутренность дома сравнить с часовым механизмом будет верно. А сам хозяин, как "идолище" - пространный до не влеза в вагон, но легко передвигавшийся, не задевая вещей, и одетый легко и пестро в плис и шелк,то ли под знатного татарина, то ли под "удалого доброго молодца".

Шляпкин прочитал мой Лимонарь. О Лимонаре и разговор. Это было вскоре после выхода книги (Изд. Оры, 1908 г.). По лесенкам переходами повел он меня под разноголосое тиканье в свое святилище, где хранились его береженые любимые сокровища. Тут показал он мне сундук, доверху рукописи - неизданные "Русские повести" XVI и XVII в.в. - и укладку с петровскими документами.

Страсть археолога: хранить редкости и никому не показывать - была нарушена. Но потрогать или подвести к носу рукопись не разрешается: смотри издали.

Усадил он меня на высокий разрушенный трон: сядешь - или провалишься, только ноги торчат,или загрузнешь, потом не вырваться. А сам примостился на низенькой табуретке, распустив шелка,как какая пышная птица.

Лимонарь он одобрил. Его смущают "Страсти Господни": ему показалось "кощунство". Я понял, в чем дело. И попытался объяснить.

"Что это значит: "тридневен во гробе?" Какое могло быть действо победителя Сатанаила? Не человеческое "кощунство", а все, что в веках войдет в человеческую мысль - сомнения и душевный мятеж - будут разыграны демонами: смотрите: "се царь ваш!" И в те же самые дни "природа" покажет свою власть, расправляясь по-свойски с трупом, пусть Божественным, но и человеческим, понимаете?"

Шляпкин не дурак, понял.

"Только очень соблазнительно для верующих, - сказал он, - нельзя ли прибавить какое-нибудь разъяснение?"

"Да разве не ясно? Картина в примечаниях - подписях - не нуждается. А если неясно... но за всеми не угонишься, и если нет у человека глаза, никакая лупа - примечания - не разъяснит".

Шляпкин, как и многие ученые, был далек от всякого искусства: все он принимал как "документ", и его документальным глазам, как и для слепых, обязательно требовалось лупное "разъяснение".

Мое изустное примечание к смутившим его "Страстям" примирило с моим "текстом". И в знак мира он подарил мне мою "мысль", лупу: вещь не старинная и ничем не замечательная и не русской, а заграничной работы. Ну, да со стариной, хоть бы весь мир провалился, он не расстанется.

Так появилась у нас Шляпкинская голубая лупа и пошла в работу, помогая глазу проникать в скорописную паутину русского XVI и XVII века.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

В нашу первую поездку в Париж в 1911 году этот маленький портфель подарил мне самый богатый человек в России Михаил Иванович Терещенко.

В те годы соединял нас театр, потом книга,основанное им издательство "Сирин". На портфеле золотая монограмма: А. М. R. - тонкая вязь.

Через тридцать лет этот портфель вышел на свет Божий: монограмму я снял - 200 фр. на вес, а в безличный - мои продовольственные карточки,как раз по размеру.

Во всех бесконечных очередях я с ним не расставался. За годы 1940-1944 сколько часов, не счесть. Стоял он со мной и в жару, и в мороз,и под дождем. Какими руками я за него брался. Сколько надежд и огорчений и страха: потеряю.

И терял. Хорошо еще, что не на улице, а дома, на кухне. А в нем все было цело. И только раз я не нашел мою хлебную карточку. И это было целое событие: хлеб - все. Но я не упрекал его: могу и без хлеба, не развалюсь, а ему будет отдых от хвостов и беспокойства.

ПОРТФЕЛЬ

Я ничего не знаю,какой он был новый,"свежий" - о портфеле, как и о перчатках,говорится: "свежий".

У него была коленкоровая подкладка темно-серая с блеском в шелк, она ему была как внутренняя шкурка и за годы проносилась, и теперь ниточки не висит. А помню, долго приходилось, и оборвешь и пальцами подсунешь. А ключа не помню - и без ключа закрывалось крепко, потом перестало - все дело в шкурке.

На портфеле живо тюремное благословение: запихнут был со смокингом в чемодан, принесли из дому в

Таганскую тюрьму накануне моей отправки в ссылку в Пензу (декабрь 1897 г.). Нынче (1947 г.) ему не мало не много - полвека.

Мои тюремные записи и тетрадь с первым моим рассказом, написанным семилетними каракулями,и моя "философия", стройно выведенная алгебраически,весь мой тогдашний "Шурум-бурум" хранили его мягкие кожаные стенки с коленкоровой подкладкой.

Здесь,в Париже,перед войной Dr. S. Kahan (Станислав Леопольдович Каган), редактор Hippocrate'а, взглянув раз на мой портфель, а портфель, что говорить, был потрепанный, брезгливо заметил:

"Бросьте, я подарю вам новый!"

От нового я не отказываюсь, а и расстаться со старым - бросить, нет, я этого не могу сделать.

Нового, конечно, я не получил - обещать все легко! - а мой старый, полюбуйтесь! да он готов еще и полвека беречь, чего только ни ткну под его кожаную охрану.

В дорогу - в последний путь "всея земли" - пора. Но какие же сборы туда: там не надо ни тетрадей, ни ручки и никакой заветной книги.

Глядя на моего спутника, на опустелый портфель - он лежит на столе, как лежала б собака в уголку, - вспоминаю все мои пройденные дороги - горечь,надежда, отчаяние.

А где он только со мной ни побывал, подержанный, отслуживший портфель! какие только рукописи ни береглись в нем, и всегда с опаской: вот пропадут! - горячие, вчера написанные, что еще самому читать в охотку и волнует. От первой моей "Посолони" до памяти "Подстриженные глаза", "Страд" и до моего заключительного "Шурум-бурум", выблески из виденного, слышанного и перечувствованного, быль и небылица.

Портфель хранил и не одни мои рукописи,а и рисунки: когда их набиралось на альбом,я вынимал их, наклею и подпишу - готово. А порожнее заполнялось новыми. Я не музыкант, но во мне всегда поет,и всегда я тянусь рисовать. Много тысяч рисунков впере-

межку с рукописями побывало в портфеле: к Гоголю, к Достоевскому, к Тургеневу, к Лескову, к моей "Взвихренной Руси" и "Посолони" или так, что придет в мою глазатую руку.

Неизменно он сопровождал меня на моих вечерах и в Петербурге и в Париже. Об-бок с моим - непременно горячим, иначе не зазвучит, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лесков, Тургенев - книги моей вечеровой программы. Побывал он у Комиссаржевской на представлении моего "Бесовского действа",знает,что такое быть засыпанному аплодисментами под сухой дождь свистков.

В пожары, когда стена зловеще дымилась,грозя - вот выбросится пламя, а ему хоть бы что. В Киеве я пронес его через огонь - его, Натусю и московскую икону "Три радости": в нем лежала рукопись "Часы", писал в Одессе (1904 г.), как жили на Молдаванке,и такая была бедность, когда только молодость спасает.

Однажды он пережил жгучую минуту, когда, казалось, без поры без времени пришел час нам расстаться. В августе 1914-го года, в войну, мы возвращались в Петербург из Берлина. Багаж мы сдали без надежды получить, но портфель я оставил с собой, так надежней. На станции Allenstein, пропуская из вагона на платформу,меня остановил военный контроль: "Ваш портфель!" В портфеле была рукопись: начало "Плачужной канавы", и я раскрыл портфель,я думал - "пропало!" И пропало бы, но тут произошло, как это бывает во сне: не судьба, значит. Какой-то пассажир сунулся вперед, желая, пользуясь замешательством, проскользнуть, за него и схватились: "подозрительный!" - а меня бросили. И я закрыл портфель и вышел. Или мои руки были горячие, или ему было жарко: мне показалось, не рукопись нес я, а разожженные угли.

В "сполох" ("алерты") в оккупацию 1940-1944 под вой сирены, наполненный доверху,он прятался в убежище ("абри").

Более мять, как уминал я его, казалось, нет никакой возможности выдержать и новому, а он все перенес, никаких заплаток не просит, как новенький. Посмотрите, какой! Да, подержанный, и разве вы не видите, а я моими глазами вижу, пальцы - мои пальцы вдавившиеся: "не выпущу".

РИСУНКИ ПИСАТЕЛЕЙ

В традиции писателей рисование: Гюго, Бодлер, Верлен, Стендаль, Мериме, Жорж Санд, Теофиль Готье, Гонкуры, Анатоль Франс, Леон Блуа; традиция продолжается: Валери, Поль Моран, Жакоб, Кокто, Бретон, Элюар, Анри Мишо.

Известны рисунки Гете, Словацкого, Норвида.

И среди русских; с Ломоносова: Пушкин, Гоголь, Достоевский, Тургенев, Лермонтов, Батюшков, Баратынский, Жуковский, Шевченко, Хомяков, Полонский; традиция продолжается: Чехов, Леонид Андреев, Гумилев, Андрей Белый, Маяковский.

Сохранился рисунок В. В. Розанова. Я видел рисунок Блока. Известно, что Л. Н. Толстой много делал рисунков к Жюль Верну, когда читал его своим детям, а известен только один: рисунок Толстого к *Азбуке* - Н. В. Зарецкий в Праге на выставке рисунков писателей всем его показывал.

И как начнешь вспоминать, кажется, не было и нет писателя, который бы не рисовал.

Писатели рисуют.

Объясняется очень просто: *написанное* и *нарисованное* по существу одно. Каждый писец может сделаться рисовальщиком, а рисовальщик непременно *писец*. Писатель по преимуществу писец: каллиграфический или исамчертногусломает, неважно, а стало быть, в каждом писателе таится зуд к рисованию.

А кроме того, в самом письме рисовальный соблазн: когда "мысль бродит" или когда "сжигается", когда "не поддается слово" или лезет несуразное, ру-

ка невольно продолжает выводить узоры - так обозначается рисунок на полях или в тексте; рисунок же выступает и из зачеркнутого, зачеркнутое - зазубренное или заволненное - всегда тянет к разрисовке: неизбежные паузы, заполненные мечтой. И то неопределенное, известное как "мука творчества", имеет наглядное выражение: рисунок. "Рукопись, испещренная рисунками", а рисунки рукописи без никакого к написанному, очень характерно для нелегкого, тугого или, как здесь говорят о таких редких мастерах слова, как Валери - "запорного" писателя.

Но это еще не все: написанное не только хочется выговорить - отсюда, между прочим, непреодолимая страсть у скучных, лишенных меры и юмора, а также и у начинающих писателей публично читать свои произведения - написанное не только хочется произнести вполголоса, как это часто делается в процессе письма, а чтобы на голос - во всеуслышанье, а если возможно, то и пропеть, и уж само собой, нарисовать (иллюстрации Пушкина и Гоголя).

Но и это еще не вполне: творческая одаренность непременно угнездится на каком-нибудь из видов творчества, оставаясь в то же время открытой для всех других. Ведь только человеческая ограниченность - нельзя два дела делать! - да природное несовершенство исключают "мастера на все руки" в высоком значении.

Редко, но попадают случаи совместительства: Уильям Блейк, и гравер и поэт; Э. Т. А. Гофман - и писатель и музыкант, как и М. А. Кузмин. И все-таки остаются непревзойденными *Александрийские песни* Кузмина, а не его музыкальные иллюстрации и *Куранты;* чудесные истории Гофмана, а не его оперы; а гравюры Блейка, по крайней мере для меня, не больше как дополнения к его *Венчанию неба и ада.*

В рисунках писателей различаются: рисунки рукописей и те, когда писатель выступает как художник.

Рисунки рукописей неотделимы от письма; эти рисунки - продолжение строчек и являют очертание невыраженных мыслей и несказавшихся слов: рисунки Пушкина и Достоевского. В их непосредственности трепет жизни, живость "горячей руки" и отплань "воспаленных мыслей".

Рисунки писателя-художника не изрисованные, а нарисованные, - задуманные; и любопытны только потому, что делал их или Бодлер, или Лермонтов, или Баратынский, и без магии имен остались бы незамеченными. Общее в них: любительство, а если даже и мастерство,то никак не Рафаэль и не Калло. По этим рисункам можно судить, что занимало писателя: Гюго рисует Вианденский дом в Люксембурге, Жуковский Рим, Лермонтов Кавказ, Норвид развалины Рима, - А. Н. Бенуа с закрытыми глазами скажет,кому из художников или какой школе подражал рисующий и *не могущий не рисовать* писатель.

Стать писать и на какой-то ошибке, на каком-то сомнении, на досаде - не закрутить крючка,и вот из крючка - *мои завитки и рисунок.*

О пушкинском "крючке" рассказывает М. В. Добужинский в своем *Рисунок Пушкина.* Природа пушкинских рисунков каллиграфическая; секрет в пере: тонкость и воздушность линий, их завитной пушок вывело гусиное перо, легче ручки, нечувствительней и китайской кисточки. Старинная пропись дает указание о "чинении перьев к писму" и о "расположении себя к писму"; без этой "азбуки" пушкинская каллиграфия недоступна живому воспроизведению и остается загадочной.

"Перо способнее признается к писму из праваго гусинаго крыла кое размоча в горячей воде,чинить таким образом; с резать его бока со обеих сторон полуцыркулно из чего и произоидут два равныя острея. Из которых задняя часть срезывается долой, а на передней просекается по самой средине его расчеп. Потом положа на ноготь левой руки большаго палца, подсекается тот острый кончик пера по произволению в кось, или прямо. Корпус с головою должен быть пря-

мо растоянием на ладонь от стола,глаза безпрестанно обращены иметь на кончик пера, а ноги должны быть прямо протянуты". (*Пропись показывающая красоту Российского письма*. Изданная в Москве, 1793 года. Из собрания С. Ю. Кулаковского).

Все мое рисование из каллиграфических завитков. Завитнув, я не могу остановиться и начинаю рисовать. И в этом мое и счастье и несчастье: мне хочется писать, а завиток, крючком вцепившись в руку, ведет ее рисовать - мысли разбегаются, конец письму, а под неоконченными строчками рисунок.

Так с незапамятных времен. Но употребления из этой моей рисовальной одержимости я не делал. Я никогда не обольщался, и для меня было всегда ясно, что "легче борову свиному проткнуться в ослиное ушко", чем писателю сделаться художником.

Кое-что из письменно-рисовального я делал еще в России - и однажды участвовал на выставке футуристов у Бурлюков в *Треугольнике*. И потом - в Берлине, где мои начертательные рисунки приютил Вальден, собиратель живописных и графических курьезов, в своем *Штурме*. Но развой и цвет моей рисовальной каллиграфии - Париж; в Париже на выставке у Оцупа, в Праге у Зарецкого, в Моравской Тшебове у Перемиловского была представлена она всех цветов,как чичиковский шарф, а закорючек - подпишет московский подьячий Федор Грешищев.

Последние годы 1931-49, когда у меня не осталось никакой надежды увидеть мои подготовленные к печати книги, а в русских периодических изданиях оказалось, что для меня "нет места" и я попал в круг писателей, "приговоренных к высшей мере наказания" или, просто говоря, обреченных на смерть, я решил использовать свою каллиграфию: я стал делать рукописные иллюстрированные альбомы - в единственном экземпляре. И за восемнадцать лет работы: четыреста тридцать альбомов и в них около трех тысяч рисунков. Перечень 157 номеров напечатан в ревельской *Нови*, кн. 8. Сто восемьдесят пять альбомов "так или иначе" разошлись.

Из всех рисунков писателей я больше всего люблю рисунки Пушкина. Как бы мне хотелось посмотреть на его движущиеся чудища из сна Татьяны! А полюбились мне рисунки Пушкина за их непосредственность. Ведь только *непосредственность* - ненамеренность - передает мгновения в беспрерывном, взблеск жизни в ограниченном окостенелом событии.

И у меня, как у каждого писателя, было когда-то такое в рисунках, но по мере того как начал я выпускать мои альбомы, стал вырисовывать и обрамлять рисунки, мое "само собой" - мое "изстрочное" - пропало. И это безвозвратно: глаз осурьезился,рука навострилась. И я невольно попал в круг Лермонтова и Бодлера, писателей-рисовальщиков,но не имея их душуивремяпронизывающего имени, не могу претендовать ни на определение историка, ни на любопытство исследователя.

В войну я делал в больших размерах абстрактные цветные конструкции - три стены в "кукушкиной", на улице Буало в Париже, десяток у Лифаря в подвале и простенок у Кодрянских в Нью-Йорке.

LE COURRIER GRAPHIQUE

Что ни говорите, а Рождественский Дед есть, он существует, этот Пер Ноэль, так же как существует "Неизвестное дитя" волшебной гофманской сказки. И от одного сознания, что они где-то тут, близко,мне делается тепло. С горячим чуством я засыпаю, мечтая, что когда-нибудь их встречу лицом к лицу, как без слов, глазами буду разговаривать - да и не надо, таким все ясно: совсем я запутался,забили скучные заботы. И потому ли, что моя вера в чудесное, нарушающее жесточайший "нормальный" порядок, меня не оставляет никогда - винюсь, не сердитесь,вы,мои странные сестры и братья из моей "фантазии", бывают и у меня ночи, вы замечали, когда кругом потерянный, изверившийся и иззябший, сижу на кухне и

докуриваю свои сбереженные на "тот" случай окурки, в чадном холодном дыму, за которым ничего уже не различаю... - потому ли что я всегда жду сверхъестественного, моя жизнь наполнена чудесами и я тоже еще существую.

Пер Ноэль мне сделал подарок: перед Рождеством я получил книгу "Вестник графики". А ведь это мое самое любимое: буквы, картинки, бумага.

Вот уже третий год, как в Париже выходит этот общедоступный - 8 фр. за книгу в 48 страниц - в разноцветных обложках "Le courrier graphique". Директор (заведующий издательством) Альберт Символист, главный редактор Пьер Морнан; редакционный комитет: Андре Блюм, Анри Коле, Жорж Дангон, Марк Жарик, Жан Порше и поэт-сюрреалист Жильбер Лели.

Сейчас на всех литературных перекрестках только и слышно: "Асланыч! Асланыч!" - французы за двадцать лет русской денационализации отлично усвоили русские отчества; это про Льва Аслановича Тарасова - про Henri Troyat, получившего за своего "Паука" премию Гонкуров. И надо помнить, что вывезший его "паук" - образ исконно русский, Пушкиным представленный во сне Татьяны и Германа; Гоголем в "Вии" - пузырь с тысячью клещей и жал; Достоевским в пауковой бане - "вечности" в исповеди Ставрогина - "красный паучок" - и в видении Ипполита,по чудовищности сравнимого только с Пиранези - "паук", как последний суд и расправа и над самым совершеннейшим "природы", когда-либо возникшим в "ошибочном" мире. Я убежден, что во Франции есть или будут какие-то еще премии "Гонкуров",озвучающие среди имен одно единственное имя, и я не сомневаюсь, что имя Альберта Львовича Символиста - Albert Symboliste - будет также повторяться за изобретательность, находчивость, подбор и работу.

Должно быть, это правда: "русская земля обратилась во мне в тело и кость..."

Французский журнал под руководством Символиста, представляя книжные и графические французские богатства в веках и в самых разнообразных видах до

соблазнительных наклеек на лекарство, от которых хочется захворать, чтобы купить дорогую пеструю коробочку, не обошел РУССКОЕ.

№ 5 посвящен столетию смерти Пушкина с воспроизведением иллюстраций Н. Кузьмина. (Этими иллюстрациями украшено издание "Онегина" в замечательном по передаче ритма переводе еврейского поэта А. Т. Шпенского). После А. Н. Бенуа и М. В. Добужинского, первых иллюстраторов Пушкина, самым любопытным из графиков - Н. Кузьмин: его манера - по пушкинским рисункам; мне кажется, он рисует не кисточкой, не нашим пером, а гусиным пером, как Пушкин, и оттого в его рисунках линейная живость, усиная эластичность и воздушная рядь. Есть номер, посвященный русским народным картинкам из собрания Е. П. Иванова со статьей Иванова - мне особенно трогательно читать такое русское по-французски, ведь это про него у Блока в "Незнакомке": "и каждый вечер друг единственный..." В № 9 - иллюстрации к Гоголю Ирины Кольской: "Шинель" и "Записки сумасшедшего". А в последнем 19-м номере сны Тургенева: сон Аратова из "Клары Милич", сон Петушкова, сон Лукерьи из "Живых мощей", сон Чертопханова - четыре моих рисунка.

Не могу себя считать художником, я пишу и моему писанию отдаю все. Но только не могу я - так всю мою жизнь - не рисовать. И тема моя, с чего я и начал, "сверхъестественное" и все, что с людьми совершается, когда они "балдеют" и "распоясываются", освобожденные великим чародеем-сном от всяких обязательств и математики,когда и самому робкому в жизни вдруг "море по колено" и "на все наплевать". Я все доискиваюсь, каким способом выразить такое "ненормальное" состояние, как передать символику сонных видений? А это очень важно: стоит только вырисовывать сон, и в рисунке он окажется куда содержательнее только сказанного, а в сказанном всегда недоговоренным. Но музыка и краска сновидений? Может быть, абстрактная конструкция из цветных наклеек графированных?..

В № 19, рождественский подарок Пера Ноэля, кроме Тургенева, неизменная из номера в номер статья авторитетнейшего Морнана, воспроизведение писем Наполеона, Людовика XVI и последних строк Марии Антуанетты "...mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer pour vous mes pauvres enfants", и это значит, что до последней слезинки... и остался один сухой огонь - кровавая ссадина.

За два года выпуска "Вестника графики" на моих глазах проходила работа Символиста; изо дня в день, без праздников и традиционных "ваканс" все что-то клеит, рассчитывает, прилаживает. Молодость? А кто же не знает, что "беспредметные" кафе на Монпарнасе обязаны своим существованием исключительно и только той же "молодости", после которой, однако, одно пустое место, запорошенное окурками.

ЧУДЕСНАЯ РОССИЯ

(Л. Н. Толстой)

Скудость веры, когда просто непонятным кажется, как это люди могли когда-то затевать многолетние постройки вроде готических соборов; сужение поля зрения - видишь только то, что под носом, а что дальше и глубже - ничего; подавленность воли и робость и подлонная жажда чуда, которое одно лишь способно вывести из пропащего круга безнадежного, забитого, серого существования на земле - это тот мир, в который пришел Толстой (1828-1910) и принес свою зоркость, свое смелое и прямое слово и свою веру в чудесное в этом мире и человеке.

Мысли о жизни и человеке все давно сказаны, и их жизнь и действие не в новизне, а в воле, в вере и в огне слова.

Величайшая вера в чудо и безграничное доверие к человеку - к человеческой воле и совести, вот пафос - вера, воля и огонь творчества Толстого. И в

этом разгадка,почему люди повлеклись к нему,почему слова его трогают.

Толстовское "непротивление" - это при жесточайшем-то законе жизни беспощадной борьбы,какими средствами, все равно, когда Гераклитов бог войны воистину "царь и отец жизни" - какая должна быть вера в чудесное в человеке: человек услышит, почувствует и опустит занесенную руку, а с другой стороны, найдет в себе силы со всей крепостью духа запретить.

И еще толстовское: остановитесь и прекратите ту жизнь, которая идет на земле, основанная на лжи и насилии - на эксплуатации человека человеком или поощряющая это насилие, и которая создает вещи, не поднимающие дух человека, а отравляющие или отупляющие человека! - какую надо веру в чудесное: человек найдет в себе мужество остановиться и своей волей перевернуть весь уклад жизни, начать новую свободную жизнь.

Эта вера в чудесное покоряет человека, еще не задавленного и не захлебнувшегося, живой дух которого рвется высвободиться из кольца размеренной тягчайшим трудом жизни.

Жизнь для Толстого представлялась большой реальностью, не ограниченной дневными событиями, а уходящей в многогранность сна. Явлению сна Толстой придавал большое значение и часто повторял слова Паскаля: если бы сны шли в последовательности, мы не знали бы, что - сон, что - действительность.

В русской литературе явлению сна всегда отводилось большое место. Гоголь, как Э. Т. А. Гофман, брал сон в чистейшем его существе - повесть "Нос" построена на сне и во сне,или ряд одноименных снов Ивана Федоровича Шпоньки; Достоевский дал образцы "видений"; у Толстого же, как и у Лескова,сон весь в жизни, неразрывно связанный с событиями сегодняшнего дня и еще не известного завтра, - и только вещий сон, обнажающий скрытую судьбу человека,дан им со всей яркостью изобразительности труднейшей многомерности. В "Анне Карениной" сон - вехи,по кото-

рым идет повествование; замечательный сон в сказке "О двух стариках" и в сказках "Много ли человеку земли нужно" и "Чем люди живы".

Расширенная и вглубь и вдаль реальность жизни, где в сегодня смотрится завтра, это - взлет надчеловеческий,это - касание и видение самой судьбы. И этот взлет чудесен и, как вера в чудо, покоряет.

В вере в чудо есть вечная молодость и залог жизни, а вера не только движет горами - побеждает стихию, - а и создает миры.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

(1826-1889)

К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ "ПОШЕХОНСКОЙ СТАРИНЫ"

Крылатые и меткие слова Салтыкова-Щедрина вошли в обиходную русскую речь подобно острословиям из *Горя от ума* Грибоедова и *Ревизора* и *Мертвых душ* Гоголя. Целое поколение - эпоха Достоевского и Толстого - зачитывалось сатирическими фельетонами Салтыкова. Его двойное имя: собственное - Салтыков, и Щедрин - псевдоним, - стало символом: попадешь на зубок, отбреет, не поздоровится! а известно, как имена: Толстой и Достоевский. Но едва ли много читаются щедринские сатиры: трудно - уж очень внешне все изменилось, а эзоповская речь, маска для цензуры, иносказательная, особенно полюбившаяся, как занимательная головоломка, не только трудна, но и темна, а темь источник скуки. Но пристрастившись, невольно начинаешь мерить на свой аршин, на современность, - и канувшее подымается, как настоящее: да, все изменилось, но человеческие мелкие страстишки и то, что по-русски называется "мещанством" с его "умеренностью и аккуратностью", с его бескрылой серединой и исходящей из "середины" жестокостью, неистребимо и выроживается совсем неожиданно и в том, где и не гадаешь, потому что только *чело-*

век пропадает, а люди - *люди неизменно продолжаются*, меняя лишь одежду и имена.

В самой природе вещей безобразие; в человеческих отношениях и поступках скандал.

Достоевский проник и разглядел эту трагическую завязь и в *Карамазовых* возвращает "билет" на свободный пропуск в эту жизнь. Щедрин - у него глаз на человеческие извороты: на эти житейские сделки, плутню и самодовольство, беспощадное хотя бы к тому, кто на дороге чуть повыше или как-то по-другому, не похоже; Щедрин в своих сатирах показывает в смешном виде всю эту мещанскую чинность, чванливость и благолепие.

А между тем, сколько! - живут-и-поживают, ничего не замечая, или приспособившись, терпят. Но бунтующееe сердце - Достоевский! - у Достоевского его "трагедия" заканчивается вызовом Кириллова в *Бесах:* сметь победить боль и страх и стать Богом; а в *Преступлении и наказании* - озаряющим вольным страданием Раскольникова наперекор всепроникающему окастому Тарантулу, привидевшемуся во сне Ипполиту в *Идиоте*. И то же неуспокаивающееся сердце - Щедрин! - у Щедрина его сатира: высмеять и обличить и, может быть, поправить, иначе дышать нечем или, словами Щедрина: "мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положила начало тому злому недугу, с которым я сойду и в могилу". И как в "трагедии" Достоевского, так и в "сатире" Щедрина - вера в человека, исходящая из сердца "самосознающего" человека, вера, которая чудесно скажется у Толстого, торжественно у Горького и отенит печалью у Чехова.

* * *

Михаил Евграфович Салтыков из аристократической помещичьей семьи Тверской губ., родился в 1826 г. - старше на два года Толстого и на пять моложе Достоевского. Ученье прошло - сначала в Москве, потом в Царскосельском Лицее, где учился Пушкин и хранилась его традиция: лицеистом Салтыков писал

стихи. По окончании Лицея поступил в канцелярию Военного министра. Время было суровое - царствование Николая I, а для таких как Салтыков и его товарищи - беспросветно жестокое. "В России, - вспоминает Щедрин, - мы существовали лишь фактически, но духовно мы жили во Франции; мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних двух лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались *Историей десятилетия* Луи Блана. Луи-Филипп, и Гизо, и Дюшатель,и Тьер - все это были как бы личные враги, успех которых огорчал, неуспех - радовал". Стихи больше не писались, но литераторство притягивало. Еще в Лицее были прочитаны запрещенные Луи Блан, Фурье и Сен-Симон; они и направили его мысли.

Первое выступление в литературе - отзывы о книгах в "Отечественных Записках", в отделе, которым заведывал Белинский, а затем в тех же "Отечественных Записках" первая повесть *Противоречия* (1847), написанная под явным влиянием Жорж Санд: ее Indiana, Valentine, Jacques. И в следующем году - вторая повесть *Запутанное дело* (1848) - в ней, кроме Жорж Санд, голос Гоголя и Достоевского: *Бедных людей* Достоевского, вышедших из *Шинели* Гоголя. Повесть проникнута сочувствием к "униженным и оскорбленным".

Сочувствовать "униженным и оскорбленным"... но ведь это значит и осуждение и вызов тому общественному строю, в котором этим "униженным и оскорбленным" выдан "билет" благоденствовать.

Февральская революция 1848 г. решила его судьбу.

"Громадность события, - вспоминает Салтыков, - на все набрасывала покров волшебства. Франция казалась страною чудес. Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не плениться этою неистощимостью жизненного творчества, которое, вдобавок,отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах,а рвалось захватить все дальше и дальше? И точно, мы не только пленялись, но даже не особенно

искусно скрывали свои восторги от глаз бодрствующего начальства". Как отпор и предохранительное средство, учрежден был негласный комитет для рассмотрения "злокозненностей русской литературы". И автора с сочувствием "униженным и оскорбленным" живо раскусили: Салтыков был переведен в Вятку в Канцелярию Губернского Правления на самую низшую должность. И это был не просто служебный перевод, а ссылка. И совершилось молниеносно: "В один прекрасный день, - вспоминает современник, - перед квартирой Салтыкова остановилась ямская тройка с жандармом и объявлено было повеление тотчас же ехать в Вятку. Все это было сделано так поспешно,что Салтыков едва успел сложить в чемодан свои пожитки и должен был сесть на тройку в легкой шубенке, едва достаточной для петербургского обихода".

Через год - в 1849 г. - та же участь постигнет Достоевского, только пошлют его не в "тину" Вятской канцелярии, а на каторгу в Сибирь.

* * *

В Вятке, где когда-то жил в ссылке Герцен и сохранилась традиция: ссыльный не в пример и по развитию, и по энергии, - Салтыков сразу занял большое положение, куда выше петербургского в канцелярии Военного министра. И с каждым годом занимая все высшие должности, дослужился до советника Губернского Правления, и в то же время, как находящийся в распоряжении губернатора, исполнял самые ответственные поручения до - усмирения крестьянского бунта.

Семь лет тянулась ссылка.

В 1856 году - начало царствования Александра II - Салтыкова вернули в Петербург.

В этом году в "Русском Вестнике" начинают печататься *Губернские очерки* (1856-57) за подписью Николай Щедрин: круг вятских наблюдений. С этого года имя Щедрина получает громкую известность. И как в служебной карьере, так и в литературе, с каж-

дым годом он будет подыматься на высшую степень, и литературное имя его станет всероссийским.

Печатаясь под псевдонимом Щедрин, Салтыков продолжает службу и вскоре получает высокое назначение: вице-губернатором в Рязань (1858), а затем в родную Тверь (1860), где некоторое время будет исполнять обязанности губернатора. Явление исключительное, что-то китайское, где в порядке вещей поэт, писатель, историк и он же министр! Но в русской традиции, слагавшейся в ту пору, это писатель - бездомник, по смерти которого на могиле "ни плиты, ни креста", так в стихах Некрасова о Белинском, первом русском критике, открывшем Пушкина, Гоголя и Достоевского. Губернатор! Какое поле для наблюдений: в ссыльной Вятке было дореформенное чиновничество, увековеченное Гоголем, теперь реформированное - "отставные крепостных дел мастера": им посвящены *Сатиры в прозе* (1860-62) и *Помпадуры и помпадурши* (1863-73).

Прослужив еще семь лет, Салтыков вышел в отставку и сделался соредактором Некрасова* в "Современнике" (1863-64).

Столкновение с цензурой отпугнуло его от профессионального литераторства, и он опять поступил на службу, заняв снова высокое место председателя Пензенской Казенной Палаты, а затем то же место в Туле и в Рязани. И опять чиновная Россия - какие только уголки ни осмотрел его глаз и каких-каких людей ни навидался с их делами, деланием и делишками на русской толще многомиллионного крестьянства! Его он поэтически изобразит в своей лучшей сказке *Коняга*, олицетворив в лошади, обреченной на беспросветную работу и тупое терпение.

"Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей;

**Николай Алексеевич Некрасов (1821-77), поэт исключительного слова: и обиходное, и коренное русское, а ритм стихов пронизан Бодлером. В современной литературе от Некрасова идет Александр Блок (1880-1921).*

никогда не прекратятся дожди,грозы,вьюги, мороз... Для всех природа - мать, для него одного она - бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение - отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков,ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает,кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию - бедный Коняга знает о нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь".

Или как это скажется Некрасовым:

Я подошел: алела бугорками
По всей спине, усыпанной шмелями,
Густая кровь... струилась из ноздрей...
Я наблюдал жестокий пир шмелей,
А конь дышал все реже, все слабей.
Как вкопанный стоял он час - и боле,
И вдруг упал. Лежит недвижим в поле...
Над трупом солнца раскаленный шар
Да степь кругом.

* * *

В 1868 г. Салтыков выходит в отставку,и уж навсегда. И опять он соредактор с Некрасовым в преобразованном "Современнике" - "Отечественных Записках", а со смерти Некрасова в 1877 г. и до цензурного запрещения "Отечественных Записок" в 1884 г. - редактор. Посвятив себя исключительно литературной работе - а есть о чем рассказывать! - Салтыков до конца своей жизни (1889 г.) пишет: *Историю одного города* (1868-70) - пародия на русскую историю; *Господа ташкентцы* (1869-72) - мир дельцов; *Благонамеренные речи* (1872-76); *В царстве умеренности и аккуратности* (1874-77); *Убежище Монрепо* (1879-1880) - "мироедских дел мастера"; *Сказки* (1880-85); *Пестрые письма* (1884-86). И имя Щедрина входит в русскую культуру.

* * *

Но имя Салтыкова-Щедрина становится в ряд с первыми именами: Толстой и Достоевский - с его романа *Господа Головлевы* (1872-76) и автобиографической хроники *Пошехонская старина* (1887-89).

По силе изобразительности и словесной крепи *Головлевы* сравнимы только с Толстым, по яркости и глубине чувств - с Достоевским. Гоголь в *Вие* дает образ "сверкающей красоты" - последнего волшебства мертвой панночки, за которую мстит Вий, он же Тарантул Достоевского; у Щедрина "беспредельная светящаяся пустота" - образ последнего безысходного отчаяния. Более мрачное произведение, в котором показана кромешность человеческой природы, едва ли еще есть во всемирной литературе. Один из героев, сын "матери", и какой "грозной" матери! носит прозвище *Иудушка* - и я скажу: в наглухо завязанном мешке свободнее, чем обок с невоздерженно болтливым святошей и мерзавцем! Этот Иудушка еще раз выступит в русской литературе: в *Мелком бесе* (1905) у Ф. К. Сологуба - учитель гимназии Передонов, но далеко без тех корней и той крови, каким появился однажды у Щедрина и погасил всякий свет - беспросветно!

В *Пошехонской старине* рядом с мучительством,не уступающим "ананасному компоту" перед живым Распятием у Лизы Хохлаковой *Карамазовых*, переливающаяся через край радость жизни, приветливость человека и лесковская благодать:

"У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все стороны. Был уже час второй дня; солнце так и обливало несчастную своими лучами. Рои мух поднимались из навозной жижи; вились над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По местам образовались уже небольшие раны, из которых сочилась сукровица. Девочка терзалась, а тут же,в двух шагах от нее,преспокойно гуторили два старика, как будто ничего необыкновен-

ного в их глазах не происходило..." А вот - "солнце садилось великолепно. Наполовину его уж не было видно, и на краю запада разливалась широкая золотая полоса. Небо было совсем чистое, синее; только немногие облака, легкие и перистые,плыли вразброд, тоже пронизанные золотом. Тетенька сидела в креслах прямо против исчезающего светила, крестилась и старческим голосом напевала: Свете тихии..."

Русская речь в этих произведениях звучит строго, слова точны, образы ясны и есть та музыка, без которой даже искуснейшая литература - сухарь,а это значит, сердце Щедрина не только неуспокаивающееся перед провалами человеческих жизней, а и горящее,и сам он не ублюдок, не вывих, а *человек*.

АНТОН ПАВЛОВИЧ

Епифаний Премудрый (XV) величает Стефана, изобретателя пермской азбуки (XIV), "един чернец сложил, един составил, един счинил, един калогер,един мних,един инок. Стефан,глаголю,приснопамятный епископ, един в едино время, а не во много времена и лета, якоже и они, но един инок, един взтединенный и уединенный и уединяяся, един уединенный,един единого Бога на помощь призывая, един единому Богу моляси и глаголя".

renyxa

- ВСЕЛЕНСКАЯ ЧЕПУХА -

1

Русская "rепуха" выговорилась у Чехова как латинское "renyxa" и обернулась - и уж не просто renyxa, а чепуха вселенская - вздор, обман, ложь,призрак, морок, неразбериха-бестолочь, чушь.

"Чепуха" рефрен раздумий Чехова над жизнью, - чепуха, чепуховина - чепушенция.

* * *

Моя далекая память - 80 годы - время Чехова - Москва. Святки. В Манеже на Моховой елка - "народное гуляние". От входа стены в елках. И в этом елочном царстве они кажутся кустами можжевельника перед дремучей елью, украшенной серебряными шарами - снизу с яблоко, а к звезде мерцающий горох. Елка не московский обычай - проходят не задерживаясь, и видны только детские пальчики. Толпятся при входе около непомерной коровы и по другую сторону от елки у столбов. Мастеровые фабричные, мелкие служащие, прислуга - не елка,а круг елки диковинки. При входе корова, столбы к эстрадам, где поют малороссийские песни, пляшут и разыгриваются смешные сцены - еврейские и армянские. Три гладких столба,точеные, без мыла никак, а лезут. На середнем, выше соседних блестит самовар; на другом сапоги, - голенищами на хват - видно только одно, с левой оборвано - говорят, маляр с Болота, свой под куполами, добрался до сапог да,ухватясь за голенища,оборвал и полетел вниз - со счастьем в руках убился на смерть. А на другом столбе - гармонья, раздвинута - некуда, сама заиграет, бери в обе лапы.

Ни на гармонию, ни на самовар никому нет счастья.

К корове за народом неподступно. И только упорство моего любопытства - я пролез и все вижу.

Корова обыкновенная рыжуха, и на картинках такие рисуют, но по размеру и рога слона забодают. Надо влезть в корову и по мягкому "вареному" языку проникнуть в пищевод, спускаться как в анатомии, сначала в желудок, потом по лабиринту кишок, и по прямой кишке вылезть под хвостом на свободу. Около хвоста столик - полдюжины рыжего трехгорного и пивная закуска: раки, снетки и соленые сухарики - победителю награда. Редко кому удается одолеть анатомию, и залежавшиеся раки скучают. Корова обыкновенно выблевывает отважных путешественников. Запутавшиеся в кишках или очумелые в теми желудка выпячиваются раком,и из морды то и дело, дрыгая, высовываются ноги.

Мне посчастливилось: на моих глазах из-под коровьего хвоста показалась взбученная образина с живыми ссадинами, а за ней кумачовые клочья разодранной рубахи. Каким восторгом встречен был победитель - имя сапожного подмастерья с Пятницкой, Филиппок, станет самым громким на Москве. В разодранной рубахе,подергиваясь, в прилипших портках, щурясь во всю рожу, он по-детски пальцами протирал глаза: ему было не до пива, не до раков и только дух перевести.

На эстраде раешник, наряженный во фрак и модные лакированные бронзовые ботинки, подплясывая, безнадежно выговаривал: его масленый голос с насмешливой ржавью на весь манеж:

Чепуха, чепуха,
Это просто враки.
Черт намазал мелом нос,
Напомадил руки
И из погреба принес
Жареные брюки.

* * *

"Чепуха" - припев чеховских раздумий над жизнью и судьбой человека - свирель с немудреным ладом,наигрывающим чепуху - пропад человека и гибель мира.

"Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана, а самые нижние ноты почему-то напоминали туманы, унылые деревья, серое небо. Пропадает все ни за грош, а пуще всего людей жалко". (Свирель).

2

Явление жизни - обреченность: цвела и отцветает. Цвет жизни - смех - сказка - слово - песня.

Проходит жизнь, спутники живого бреда,напасти, грех-совесть и механизм дней - чепуха.

Не распаленными глазами демона, выгнанного на землю, не Гоголем посмотрел Чехов на чепушной мир, а глазами любопытного замечающего человека и не гоголевским резким сквозящим смехом отозвался на кавардак, уродство твари Божьей, - добродушный легкий смех вызвала в нем чепуха, и чепуха повернулась лицом *чепуховины*.

Какой чепуховиной разыгрывается чепуха человеческих дел и желаний души жизни.

Чехов блистает чепуховиной. Первые рассказы Чехова неувядаемы. Когда я читал, я превращался в Поплавского (Оратор), и было мне море по колено.

* * *

На "чепуховине" не разгуляешься. Чепуха (čепуха) кусается. Веселость духа развеялась, и смех погас. Чепуха не ляпка, а зубом - вор, мошенник, обманщик, мерзавец, - не до смеха.

Из веселого забавника Чехов превращается в резонера.

Характеристика столпов и устоев чепушиного общества не уступает гоголевскому Собакевичу. Достается и самому укладу жизни: "Моя жизнь", "Записки неизвестного", "Дуэль". Праздность, болтовня,успокоительные полумеры ("Дом с мезонином").

Его обличения - отголосок от Хворостинина,Фонвизина, Грибоедова, Салтыкова и "Абличителей" Курочкина и Бу-ки-ба. Стародум Штольц - недаром герой "Дуэли" фон Корен.

И все его революционные обличения никого не трогают. Это все равно как, почесывая брюшко, кота ругать: мерзавец, плут, лежебока.

На революционные обличения революционеры не отозвались. Чехов безыдейный писатель. Что означает: никакой политической программы. (Эка,дурак,сморозил!) Это не Горький - словесное бурение. Правда - *Палата № 6* - тронула Ленина, но не революционностью, а угрожающей чепухой: он вышел, не мог оставаться в комнате, ему казалось, он заперт в - Па-

лате № 6. (А. И. Ульянова-Елизарова. Воспоминания о Ильиче, Москва, 1934).

Чехов свой у "либералов" - среди обличаемой им "середины".

Я объясняю его необыкновенной деликатностью, ведь только раз сорвалось с гневом: Соломон, сжегший деньги, свое наследство (в "Степи").

* * *

Однажды лето я прожил под одним кровом с братом Чехова Иваном Павловичем. Говорили, кто знал Чехова, о необыкновенном сходстве братьев. Конечно, брат, как и однофамилец, не мера,но порода скажется: наше соседство было мне никак не тягостно - всегда внимательный, предупредительность и деликатность. Иван Павлович учитель. Я подумал: учитель - ошибки - как возможно не сердиться? А Чехов - врач - и у кого еще так выговорится: "Един Ты еси без греха". Отсюда его "человечность" - суд надчеловеческий: "обвиноватить никого нельзя" (*Враги*),и решение судьи не бесстрастное и безразличное: "проходи дальше", а участливое - жалость и сострадание. Теплота глаз его голоса - слова (Анюта, Хористка, Трагик). По таким глазам мир детей и безгрешное звериное. Черствому сухарю не под руку. О детях - *Степь, Страстная неделя, Житейская мелочь, Беглец, Спать хочется, Происшествие*. А о зверях - *Каштанка*, Белолобый (*Волчица и щенок*), *Нахлебники*. И мне стало понятно, почему все чеховские обличения никак не трогают - больного не упрекают, на больного не кричат.

Немощи человека, боль и терпение приближают к Богу (*Мороз*). - Добрых больше,чем злых (*На пути*).

* * *

"Чепуха" - кавардак и бестолочь - душа жизни. И даже беда не исключение: несчастье не соединяет, несчастные друг другу враги (*Враги*).

Чехов не сказочник, но сказка для него не закрыта (*Степь, Счастье*). Чудесное для него лишь больное воображение.

Огромный дом Рениксы с заколоченными окнами и дверями.

На долю Чехова - маниловские эмпиреи. И Чехов парит: люди бросят эти фабрики, амбары, канцелярии и куда-то уйдут, на их смену явятся другие и другой породы, и все пойдет по-другому, и законом будет чепуха.

"Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят,жаль, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть". (*Случай из практики*).Чехов верил в человека. (*Рассказ старшего садовника*).

3

На Чехове с ума не сходят, сказать - зачитался, к Чехову никак. Рассказ искусно отточен, не ухватить выдрать слова,пустых мест нету,но и нет дразнящих мыслей.

Все завершается на глазах в привычной обстановке и круге прописных чувств, ни тайн,ни изворотов. Задумываться не над чем.

Для нетребовательного или измученного загадками Чехов как раз. Читать Чехова, что чай пить, никогда не наскучит.

Оттого, может, так и спокойно. Чехова будут читать и перечитывать.

Комнатные рассказы Чехова, как будто не было ни Гоголя, ни Достоевского, ни Толстого, ни Тургенева.

Документальность: сад в *Черном монахе*, Амбар (галантрея) в *Три года*, Фабрика, *Случай из практики* и в *Бабьем царстве*.

4

Чехову никаких снов не снилось, хотя о снах он поминает (*Дуэль*). Мир для него скован Евклидом, - его мир: Реникса с заколоченными окнами - простая обстановка.

И даже там, при повышенной температуре - где для Гоголя, Достоевского и Толстого пролет в другой мир - для Чехова только галлюцинация по Бюхне-

ру,Фохту и Молешоту - из образов мысли "больного", возможно с бредовой завитушкой, но ничего нового, никаких "клочков и отрывков" другого мира.

И когда я задумал нарисовать из Чехова, как я рисовал из Гоголя, ничего не нашлось, - "прямая кратчайшее расстояние между двумя точками" - этим исчерпывается рисунок.

Этот мир он встретил смехом. Смех погас, начались обличения. Выговорившись, Чехов пустился парить в эмпиреях - все эти разглагольствования о грядущем рае на земле и чепушном мире, да ведь это не только чепуха, а чепуховина, над которой однажды он добродушно смеялся.

Чехов верил в человека.

* * *

Умный человек. - Но где? - чепуха показалась еще чепушнее - неизлечимый больной ищет помощи, а средств никаких облегчить.

Распариваться в эмпиреях - зарапортуешься. Нет, ни смех, ни риторика - ничего не поправишь (*Студент*). Обреченность и гибель - закон существования. Сумерки.

А заря - радость и правда, но это из эмпирей.

И пусть новые люди установят разумный порядок и все будет рассчитано и предусмотрено по науке фон Корена и водворится на земле Радость - "веселая жизнь" и Правда просвещенная - "справедливость",но куда девать "тяжелых людей", которые непременно сорвут всякий порядок, и куда девать всех этих навязчивых со своими убеждениями "жаб", "Печенегов" и Пришибеевых,куда девать колдующую любовь,под взглядом которой ерунда получает значение (*Хорошие люди*), и как быть с перевернутыми словами,когда слышится не то, что говорится, а что ждешь (*Брак по расчету*), и чем победить страх - не грозы, не покойников, не привидений, а страх самых обыкновенных уличных звуков, страх своих мыслей,страх жизни, страх неизвестного (*Страх*). И как и чем обуздать амурную кувырколлегию (словцо Лескова),любовь

непокорна и неожиданна - приходит, не спросит, уйдет, не скажется: любишь - не любит, разлюбишь - полюблю (*Три года*). Куда девать жадных зверовидных баб (Ариадна, Сусанна, Аксинья) и расчетливое скотоподобие (*Анна на шее*, *Супруга*, *Попрыгунья*).

И наступит уже не чепуха, не чепуховина, а чепухенция.

Здание Рениксы - не вижу дверей, окна заколочены - ни туда, ни сюда. И никакая новая порода - никакой разумный порядок в "производстве и распределении", никакие пути не приведут к выходу.

Чепуха - единственный "смысл" жизни.

Все ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво - мираж.

5

Из пропада песня - этот голос и в скрипке и в виолончели - первородная сияющая боль жизни, от скрипа до белого звука.

Под конец жизни, измаявшись, отзывчивое сердце - да и свое неизлечимое, расставаясь, реникса нарядилась в весеннее белое - вишневый сад. И горечь расставания зазвучала - вы слышите песню, на мотив из завойных романсов Чайковского, любимой музыки, и церковных прозрачных песнопений - памятник детства.

"О мое детство, чистота моя! в этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. Весь, весь белый! О сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя... Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!" (*Вишневый сад*).

Заколоченные двери Рениксы вдруг распахнулись.

- Как на этом свете все быстро делается (*Горе*).

"И идет он по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широко небо, залитое солнцем,

и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!" (*Архиерей*).

Это случилось 2 июля 1904 года - помер Чехов.

6

"Что мне кажется прекрасным и что я хотел бы сделать, - это книга ни о чем, книга без всякой внешней опоры,которая держалась бы сама собой внутренней *силой своего стиля,* как держится в воздухе земля, ничем не поддерживаемая, книга, которая почти не имела бы сюжета, или, по крайней мере,в которой сюжет был бы невидным,если это возможно" (Из письма Флобера к Луизе Коле. 16 янв. 1852 г.)

Всегда сюжетные рассказы Чехова держатся сомкнутым строем фраз,и лишь кое-где ассонансы и подглагольные воденят и ломают линию. В словесной чепухе для Чехова оставалась незыблемым и не вызывала сомнений грамматика - литературно-книжная речь с правилами иностранных заимствований, чем и объясняются размягчающие ассонансы, чуждые движению природной русской речи. Кроме книжной грамматики, Чехов верил в легендарную евангельскую "простоту" пушкинской прозы, которая на самом деле не больше как перевод с французского. Для достижения этой простоты он употреблял при описании природы штампованные определения и только раз со своего глаза сравнил звездное небо с начищенными пятиалтынными - мелкая серебряная монета. А глаза с рыжими копейками.

Его глаза нормальны, пелена Маин плотно сплошь, восприятия ограничены. Всякое отклонение от нормы - чепуха.

Среди художников Семирадский, Левитан,а "детский" рисунок не по нем.

"Сережа рисовал людей выше домов и старался передавать карандашом кроме предметов и свое ощущение в виде сферических дымчатых пятен, свист в виде спиральной нити. В его понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом: раскрашивая буквы, всякий раз неизменно звук "Л" красил в желтый цвет, "М" в красный, "А" в черный" (*Дома*) - какая чепуха!

Чехов читал Лескова, знает Толстого, Достоевского, Писемского, Ибсена, Владимира Соловьева (*Пародии на декадентов*), Тургенева, Гончарова, Вельтмана (*Саломея*), Болеслава Маркевича, Мельникова-Печерского, Мопассана.

От Гоголя "Тараса Бульбы" - *Степь*, от "Лесов" Печерского - *Бабье царство*, от "Соборян" Лескова - *Хорошие люди*, от Макса Нордау - *Черный монах*, от Горького - *Мужики*, *Воры*, *В овраге*, а о Слепцове он нигде не упоминает, а если от кого вести Чехова,то именно от Слепцова.

Василий Алексеевич Слепцов (1836-1878), основатель первой женской коммуны в Петербурге, секретарь *Современника*, ближайший к Чернышевскому,автор "Трудное время", рассказа "Питомка","Спевка" и провинциальных очерков (Осташково), словесно и душевным настроением предшественник Чехова.

Как и Чехов, исповедовавший пятикнижие русских нигилистов шестидесятых годов: Бюхнер, Фохт, Малешот, Миль и Бокль.

Слово - игра - пульс слова - Чехов не Гоголь - искусство слова - Чехов не задумывался.

Он знал церковно-славянскую грамоту - ирмосы, кондаки, тропари, икосы, каноны и стихиры на восемь гласов, но имени нашего церковно-славянского "леттриста" нигде не поминает: медики и естественники в словесные дебри не заглядывают, а между тем и кто еще? Только Чехов дает образ Епифания Премудрого.

* * *

Епифаний Премудрый, монах Троице-Сергиевской Лавры (14 - 15 вв.),заворожил словоплетением русскую книгу 16-го века, Епифаний Премудрый из слов плел венки: слово ему цветы. В его глазах пестрое поле, он брал цветы по цвету,на ленту выговаривая: глаза его голосов были цветные. Или по-ученому: "Плетение словес" Епифания - близкий аналог "плетеного орнамента". Слово как таковое часто теряет здесь свои выразительно-смысловые функции; элемен-

ты речи объединяются не столько логической связью, сколько на основе своей фонетической стороны,путем рифмы, ассонанса, путем гибкого видоизменения и сочетания слов одного корня.

Потом пришел ученый афонский мужик Пахомий Лагофет и сапожищами ну топтать цветы.

Слово не пень, не выкорчить, слово - купальский цветок, без заклятия сорвать не дается. Епифанию откликнулся узорным краегранесием (акростихом) монах с Хутыни Маркелл Безбородый, а в наше время - Андрей Белый.

Словесный уклад Пахомия признан был как общедоступный на среднего читателя, а Епифаний Премудрый - пускай себе верхушки забавляются, "писатель для писателей". Епифаний известен своим житием Стефана Пермского, а первое его сочинение, житие его учителя Сергия Радонежского, 1418 г.,заерзал и подчистил афонский сапог.

"Да и аз многогрешный и неразумный, последуя словеси похвалений твоих,слово плетущи и слово плодящи, и словом почтити мнящи, и от словес похваления собирая, и приобретая и приплетая".

В "Святой ночи" Чехов рассказывает со слов послушника-перевозчика о иродиаконе Николае (а я читаю Епифании) сочинял акафисты.

В Богородичном акафисте есть слова: радуйся высото-неудобовосходимая человеческими помыслы: радуйся глубино неудобозримая и ангельскими очима! "Радуйся, древо светло-плодовитое, от него же питаются верни, радуйся древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози".

"Этого поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца,не понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность,какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов".

"Кроме плавности и велеречия, нужно еще, чтобы каждая строчка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так оставить, чтоб оно было гладко и для уха вольготней.

"Радуйся, крине райского прозябения", сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто: а "крине райских", крине райского прозябения!" так глаже и для слуха сладко. Так именно Николай писал!"

Незадачливая доля Словесности - ни к одному искусству не предъявляется столько посторонних требований, как к искусству слова - словесности. Нравоучительная мораль, занимательность, развлечение, и все,что под именем "утилитарное" тянется руками расправиться по-свойски. И слово бултыхает, теряя глаза - свой голос и свою краску.

7

С первых книжек Суворина я шел за Чеховым. В те годы, 80-е и 90-е, выходили переводы Мопассана, ему покровительствовал Толстой. Я читал Мопассана, не пропуская ни одного рассказа,как Чехова. Но чувства были разные. Не одно любопытство, как к Мопассану, свое горячее - непоправимое - свой пропад - чеховская свирель сопровождала чтение.

Пропад отравы моих чувст.

И тогда с моими богатыми глазами на кипящий мир в пожаре красок и чудовищных форм, как и теперь, оставшись с дразнящим миром сновидений - пропад.

Веселость духа и пропад потянули меня к Чехову. И идя по годам за Чеховым, в далекой памяти гимназистом я вошел в Московский Манеж: вологодская елка - "Дева днесь Пресущественного рождает", столбы с солнцем - самоваром, музыкой - гармонией и сапогами - землей, египетской коровой,лабиринтом и "чепуха" - покров загадкам,блеску и желаниям.

Чепуха, чепуху -
Это просто враки.
Молотками на пуху
Сено косят раки...

ХМУРЫЕ ЛЮДИ

С первых книг я полюбил Чехова (1860-1904). Но это была любовь не та, с какой я читаю Достоевского и Толстого: Достоевский действовал на меня до содрогания, а Толстому мне хотелось подражать и в письме и в жизни. Чехова я полюбил какой-то домашней любовью и рассказы его читал напоследок, не пропуская ни одной печатной строки. Что же такое повлекло меня к Чехову после Толстого и Достоевского: ведь если расценивать по дару и сокровенному зрению, имя Чехова попадет не в первый круг к Гоголю, Толстому и Достоевскому и не во второй ряд с Лесковым, а только в третий и притом на второе место: Слепцов, Чехов. Я очень люблю Слепцова и преклоняюсь перед его мастерством, но Чехов - с его небрежностью и провинциализмом?.. Потом, перечитывая Чехова, я увидел, что его душа - описание, как пропадает человек и притом пустой человек, или, по определению Шестова, "творчество из ничего". Пропад ли, который я видел вокруг себя с детства, пустота ли человеческая, которая чувствовалась и в благополучии и в неблагополучии московской жизни, или не пропад и не пустота, а тот чеховский рефрен, выделяющий его рассказы из тысячи пустых рассказов "беллетристики", рефрен, неизменно начинающийся - "и думал он..." - то самое раздумье - мечта, взблеск в глухой пустоте и безнадежном пропаде. Должно быть, эта мечта и покорила меня; я невольно думал с героями Чехова, что вот и мне, незаметному человеку, среди великого множества таких же незаметных, мне, забившемуся в свой угол, в пропаде и такой духовной бедности - до пустоты, все-таки наперекор всему - всей этой

непонятной и непостижимой силе, распорядившейся обездолить меня, дано право и отпущен дар мечтать о какой-то другой жизни, другом человеке с другими желаниями. На Чехове я отводил душу.

Как мастер-литератор,что мог дать мне Чехов? Я читал и перечитывал Гоголя. Мои первые рассказы в рукописи Мейерхольд, у которого я служил в театре, показывал Чехову: Антон Павлович не одобрил, как потом не одобрит и Алексей Максимович: Чехов от своей простоты, Горький от высокопарности. В литературе, как и Андрей Белый, оба мы происходим от Мельникова-Печерского, преданнейшего ученика Гоголя: ритм Андрея Белого со страниц "Лесов" и "Гор", из "Лесов" и "Гор" тема моей "Посолони". И это совсем другой исток и другие корни в нашей литературе,чуждые Чехову.

Не довелось мне в жизни встретить Чехова,но во сне однажды снился. Это было осенью, когда снова я взялся за "Хмурых людей". Мне приснилось: в святой Софии Цареградской открыли фрески: "страды Богородицы", показывает Замятин и Муратов,а на экране появляются семь мудрецов: Эйнштейн, Шестов, Шаляпин и Горький - совсем как живые, Шестов с ключом,а из рамки не выходят,и тут же Иван Павлович Кобеко разложил на столике и показывает с фокусами пластинки; раскрывается комната: Антон Павлович Чехов в черном драповом пальто сидит на зеленой садовой скамейке и весь как освещен изнутри серебром. "Вот вы к нам и совсем пришли!" - говорю я и прохожу по мосту - все на мраморе: выставка скульптур - разноцветные бутылки и соусники.

"Мне тяжело дышать", - сказал Чехов и вытащил изо рта утку.

Утка оказалась жареная, с яблоками. И все бросились с разбега к Чехову хватать утку.

СТОЯТЬ - НЕГАСИМУЮ СВЕЧУ
ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЗАМЯТИНА
1884-1937

--- море-могилы, мшистые кочки, крестная дорога разошлась по России - Россия, какой она мне снится, весенняя в мураве моей суздальской родины, то кукушечья - подмосковный звенигородской лес в вечерний час, или галочье ненастье - Петербург,куда ни обернусь: кресты.

Первый крест - наше последнее прощание: Блок; памятно, как кровь: это было и наше "прощайте" - последнее - русской земле. За Блоком Гумилев... Розанов, Брюсов, Гершензон, Сологуб, Есенин, Добронравов, Андрей Белый, а в прошлом году Кузмин,Горький, а вот и Замятина похоронили.

И остался один Пришвин - белый как лунь,с ружьем и собакой, вижу, приставил ладони к ушам: трепетание листков, или где-то осина трепещется, или в еще "нераздевшейся" ночи слышно-чутко мои предрассветные прощальные мысли?

* * *

"Стоять - негасимую свечу", так в старину о канонницах, читавших псалтырь, так мне сказалось о Замятине, о его словесной работе. Только Андрей Белый так сознательно строил свою прозу, а положил "начал" Гоголь, первый Флобер в русской литературе, а за Гоголем Слепцов... Аксаков, Гончаров.

* * *

Я лежал в жару. Только газета, перо и кисточка. В память Пушкина я хотел изобразить его сны - шесть снов; рисование помогает моему глазу различать в темноте сновидений, чего не схватить словом, а температура сочиняет краски. В сумерки мне сказали, что произошла "большая неприятность". Сказано было голосом, я знаю все его оттенки,и я почувствовал очень тревожное. Миллион мыслей пронес-

лось: налог, молочница, газ, электричество - кому только не должны! - и, наконец, нас выгнали с квартиры и наступил последний беспризорный пропад...

"Е. И. Замятин помер!"

* * *

В ту ночь вижу: сижу на кухне у стола,а ко мне лицом, у плиты примостилась, подбородком на плиту и правую руку так, торчмя над головой держит, как кот лапу, когда ищется, но это была не канонница Нестерова, "негасимая свеча", белица "Лесов" Печерского, а очень худенькая, совсем еще подросток,костлявая, с неправильным лицом, я понимаю, нос переломан, и не прямо, исподлобья трудно - веки ее до кирпича воспалены - с болью смотрит на меня --- "...за пять лет заграничной жизни, - продолжаю думать о Замятине, - все он куда-то торопился... или это его сценарии отнимали все его время? - кинематографический сценарий! какое отношение к словесному искусству? и который и легче и в цель напишется у Осипа Дымова. Или хлопоты об устройстве своего по-французски, переводы? - Но до верхов все равно не добраться: подлинные словесные конструкции непереводимы, а архитектурными при их-нем-то богатстве, ведь мы на родине Буало! не удивишь; "мысли" и "познание" - извороты и тайники человеческой души... но надо что-то от Толстого, Достоевского или хотя бы от Салтыкова. Или надо было добиваться, поддерживать связи с их пустыми обещаниями и ожиданием - вроде миллионной лотереи - самообманом "а вдруг да...?" И вот все некогда. И так мало было сказано за эти годы. И только раз на Марше д'Отей, на нашем базаре, я за картошкой, он с почты, и почему-то я стал говорить, вспомнив петербургское, о его рассказах, как хорошо он пишет: "...когда же заговорите своим голосом?" А хотел я сказать, и он понял, я хотел сказать, что во всех его прекраснейших строках я не чувствую музыки и надо что-то - но что еще надо? - чтобы распечатать его сердце, - "когда же?" И он мне ответил: "бу-

дет", - и напомнил, что уже раз я его спрашивал и теми же словами в Петербурге. И я подумал: нет,это у него не от математики. "Вы понимаете, откуда серебряная песня Гоголя, раздумная печаль у Толстого, огненная боль у Достоевского, тоска у Чехова, исступление в подгоголевском, и пусть иногда фальшивом (ошибся на одну сотую) у Андрея Белого,антифоны Кузмина в искусственнейших стилизациях, лирика "природы" с отголоском поэзии Некрасова у Слепцова, "мыслящего реалиста", этого ученика экономического сухаря Чернышевского, по черствости сравнимого только с блестящим гигиеническим бискотом Анатолем Франсом?" И вдруг я понял... мне почуялось: "будет", как сказал когда-то Замятин, но какой это был странный скрипящий голос, такие никогда не поют, я понял, что это она - с переломанным носом и торчащей, как лапа, рукой, с болью смотревшая на меня... душа Замятина, и что больше никогда не "будет". И мне было трепетно смотреть на нее.

* * *

Оттого ли, что словесное Замятина так неразрывно с моим и наша общая любовь к русскому "старому пению" (потом уж я узнал: последнее, что унес он на тот свет, слышал незадолго до смерти,был Мусоргский), с Замятиным у меня связаны сны. Сам он закрыт от этого мира, и не было у него двойной памяти.

Когда я писал отчет о его "Огнях св. Доминика" (1920) - Замятин по природе не лирик и только строитель, не мог создать трагического театра, - и вышло под оперу, я много об этом думал, и мне приснилось. Я увидел одно из самых страшных по сказаниям: его видение было заслонено еще двумя, стоящими один за другим, и через их глаза я проник и увидел: в его глазах кипел нестерпимо щемящий огонь - это был "демон пустыни" - демон одиночества,беспризорности и отчаянья.

* * *

В пасмурное "петербургское" утро похоронили Замятина.

Не пришлось проводить его на далекое кладбище, где хоронят русскую беспризорную бедноту. Но мне казалось, я все вижу, и под дождем и ветром мне очень зябко, - я видел, как вынесли дощатый гроб, в таком Болдырева тоже на Тиэ похоронили и Поплавского, двух русских - писатель и поэт, и я вспомнил Некрасова, нашу традицию и жестокую судьбу "сочинителя", и увидел, по тесным мосткам между готовых узких могил - Иванов-Разумник, Постников и Пришвин: петербургские "Заветы". И каким ненужным показался мне дурацкий кинематограф - работа последних лет Замятина; ведь дело его жизни,все эти словесные конструкции русского лада - это наше русское, русская книжная казна! И мастерство. Вы думаете, сел и написал, и напечатали, нет: взять готовый набор и - рассыпать, и уж голыми руками за эти раскаленные добела буквы,чтобы закрепить из тысячи одно слово! И моя была горстка земли в его могилу, мое последнее прощайте, мое признание за его труд, его работу и мастерство.

* * *

Замятин из Лебедяни, тамбовский, чего русее, и стихия его слов отборно русская. Прозвище: "англичанин". Как будто он и сам поверил, - а это тоже очень русское. Внешне было "прилично" и до Англии, где он прожил всего полтора года, и никакое это не английское, а просто под инженерскую гребенку, а разойдется - смотрите: лебедянский молодец с пробором! И читал он свои рассказы под "простака".

Таким вот англичанином под простака я увидел его в день похорон: к книжной полке у окна стоял он прислонен.

"заветы"

Добронравов (1887-1926) выступил в канун войны с Замятиным и Вяч. Шишковым: Замятин - "Уездное", Шишков - "Тунгусские рассказы", Добронравов - "Новая бурса". (Шишков и "Новая бурса" печатались в "Заветах" у Р. В. Иванова-Разумника, 1913 г.)

"Новая бурса" сразу заняла место в истории русской литературы: после "Бурсы" Помяловского первое и единственное "Новая бурса" Добронравова. Добронравов сделался известным писателем и не по газетам (свои хвалят своих или по каким "политическим" соображениям), а действительно: не было семинариста в Петербурге, да и не только в Петербурге, все читали "Новую бурсу".

У Шишкова большой материал - 20 лет жизни в Сибири, не в ссылке, а доброй волей на работах - Алтай и тайга, сибирские промышленники и разбойники, вот что его привлекало изобразить, он и исполнил - много чего написал и в больших размерах, но первые короткие его рассказы в "Заветах" о странных людях - тунгусах с их полуречью (дикой или детской),с их кривыми движениями (как во сне: идут не улицей, а кругами через заборы - так вернее) - это лучшее Шишкова, это - *настоящее*.

У Замятина материал - "уездное?" - нет,его собственная голова, а средство: слова - игра в склад и лады.

Чехов завершил "интернационализм" русской прозы или, как теперь говорят, "космополитизм": начал Пушкин (Пушкин "прорубил окно в Европу"), расцвет - Тургенев (Достоевский рекомендовал Тургеневу обзавестись телескопом, чтобы сидя в Париже, наблюдать жизнь в России, а так как жизнь и мысли связаны со словом, то значит, телескоп и на слова!),конец этому интернационализму - Чехов (достаточно взглянуть на портрет: и это пенсне со шнурком и записная книжечка!). После Чехо-

ва - "плеяда" Горького: тут или, как выразился один "поэт" про "Что делать", *"трактат-роман"* (дело почтенное и педагогически очень полезное), или *беллетристика* (тоже вещь необходимая в общежитии: читают,обсуждают, спорят); эта беллетристика, конечно, за подписью, но по существу безымянная: все пишут одинаково - одними и теми же словами, одним складом, с одними оборотами и сравнениями (Леонид Андреев жаловался: "как начну писать,лезет в выражениях одна пошлость!"), иногда очень даже "красиво", попадается и неподдельный "пафос" и искренняя страстность, и всегда все понятно написано - по правилам, "грамматически", что без труда переводимо на все европейские языки, хотя в этом и нет нужды (во Франции,например,больше тысячи томов в год выпускается такой беллетристики), правда, скучновато (одни пространные описания природы чего стоят!), но читать легко (а это-то и нужно,и легко забывается - "беллетристика"!). И в то же время, с концом интернационализма, началась работа над словом по "сырому материалу" и опыты над словом и "русским" складом (как и всегда, не от пустого места, в прошлом были примеры: Пушкин - "Балда", "Вечера" Гоголя, Лесков). А началась эта работа с первой революции, 1905 г., можно обозначить место: круг Вячеслава Иванова. (Когда нибудь историки литературы выяснят огромное значение этого ученейшего человека). И в канун войны в этой "национальной" работе одно из первых мест - Хлебников и Замятин. А от Хлебникова - весь "футуризм", Маяковский (с традицией Ивана Осипова), и кто еще, не знаю (телескопом не обзавелся!), но чувствую, есть и должно быть. Один "дурак второго сорта" - (употребляю и совсем не в обиду философскую терминологию Льва Шестова, по-шестовски: дура-

ки бывают двух сортов, первого сорта - это "Дурак", а второго сорта - это "дурак под Дурака"!) - так вот это - "дурак под Дурака", потом уже в самый разгар революции (урвав поесть) признался мне, что уважать (признавать) начал Замятина, когда в войну, живя в Англии, Замятин написал повесть из английской жизни "Островитяне",а что до тех пор, состоя редактором "передового" (левого) журнала, он, "дурак второго сорта",в течение нескольких лет все, что было близко к "Уездному" или другим подобным образцам,безжалостно "бросал в корзинку", а присылался такой материал из самых отдаленных медвежьих (неожиданных!) углов России и,к великому огорчению, "по многу". "Второго сорта!" не понял (да так по-шестовски ему и полагается, а то как же?), не почуял ("редактор!") - в самом деле, не из перста же вышла вся современная *русская* глубоко национальная проза, Леонов и другие - не понял, что начиналась не какая-нибудь местная работа, не петербургская выдумка и сумасбродная затея, а что-то гораздо большее - *русское* - какой-то сдвиг, поворот - революция! Да, это была революция - еще с революции 1905 года. Революция - завет: прошлое "сделанное" - все, что живо-пламенно, все равно,интернациональное и такое из беллетристики, не разрушать ни под какую руку - только дурашливый хозяин в революцию коверкает машины и разрушает "налаженный аппарат" каких-нибудь очень полезных хозяйственных учреждений только потому - "революция!", "старый режим!" или еще как. Нет, не насмарку, а кроме того, ведь "слово"! - а слова, как звезды -

и звезда с звездою говорит -

Добронравов - материала еще больше, чем сибирского у Шишкова: Добронравов - сын священника,учил-

ся в Петербургской Духовной семинарии,по дому связи с духовенством, и притом высшим: архиереи, митрополиты, синодские чиновники, Победоносцев, Саблер. Вот что должен изобразить Добронравов,и в этой особенной обстановке - церковь, церковная служба, тут ему и книга в руки - в литургике познания его были огромны, бывал он по монастырям и в кельях, и в архиерейских покоях.

После "Новой бурсы" (отдельным изданием в 1914 году Добронравов выпустил книгу рассказов "Горький цвет" (рассказы 1910-1915 гг.) и написал целый ряд больших пьес.

У Добронравова был хороший голос,баритон - дружил с Шаляпиным. Пристрастие к пению при исключительном даре - к опере, за душой богатейший материал - архиереи, митрополиты, пестрые мантии, митры в драгоценных камнях, панагии, усыпанные бриллиантами, наперсные кресты, звезды, золотые и серебряные ризы, лампады, архиерейский хор, колокола - Добронравов сам ходил как в мантии Святейшего, а его речь - из оперы (Шаляпин!). Таким представлялся он мне, когда я читал его рассказы о царе Сауле - очень величественно и "красиво".

А тут Замятин: "красиво?" - "опера"? --?

- Если есть что-то самое порочное в литературе, это "красивость"; это какой-то словесный разврат.

- Но это нормально, эта "красивость"!

- Да, конечно. Недаром есть спрос и восхищаются и этим оценивают: "изящно", "красиво". Да, это нормально.

- А что нормально, имеет право быть (так, стало быть,по природе!). И почему "порок" и "разврат"? - Имеет право и будет, как деторождение ("прямое назначение женщины дети"!), как лад и строй соловья, живописные ландшафты, приятная, ласкающая и убаюкивающая музыка или как"трагедия" -- из-за "женщины".

- Но есть же разница между соловьем и *человеком*, между кошкой и *женщиной*. И ведь тут тоже природа "эта разница",а она есть. "Музыка планет!" - что в этой музыке от Девятой симфонии?"

- Да ничего, наверно.

- Вот! -- и в человеке ничего не может быть от соловья и в женщине от кошки... Один мудрец сказал,что приглашать к себе на обед, - это все равно как пригласить в отхожее место. И я думаю, индус прав: неловко! Как-то неловко тоже читать, когда описывают,как какой-нибудь герой "гибнет из-за женщины",неловко же слышать "красивые" и "изящные" обороты речи, вообще неловко это "нормальное". А я согласен, это всегда будет, только ---

Кроме рассказов и пьес, Добронравов писал стихи - под графа Алексея Константиновича Толстого, под былины.

- А ведь былины -- эта слащавая редакция 18 века, пичкала нас во всех хрестоматиях с приготовительного класса, настраивая ухо на какой-то не русский "красивый" лад.

Вот он и призадумался.

И одно время, я не знаю, я не видел прилежнее ученика: с каким старанием и терпеливо он сверял в рукописях мои поправки; он знал на память целые страницы из Лескова -

- Подражать можно и следует для науки, чтобы самому, проделав всю работу, догадаться, в чем дело - для чего, например у Лескова какие-то "созвучные" слова: "Марья Амуровна", "просить прощады": или контрасты: кабак, и вот мысль: ехать в родильный дом! или начинается в прошедшем и неожиданно перебивка - настоящее! - как спохватился или со стороны кто.

Из "Соборян" и "Полунощников" Добронравов читает без книги, а сядет писать, и эта самая мантия Святейшего на плечах его, как живое к живому,и гу-

бы катушкой, вот запоет, как Шаляпин - не то "Борис", не то "Хованщина"!

Добронравов был настоящий писатель. У всякого есть какая-нибудь особенная склонность: один по "любовной" и все что-нибудь мастерит, другой путешествует, третий, хлебом не корми, про политику, четвертый мечтает, а вот попадается, не оторвешь от бумаги, возьмет перо, и так оно у него, как само ходит - такая склонность была писать у Добронравова. Во время войны он писал роман из студенческой жизни - 30 листов! Это очень поразило Горького: в наше время такой размах! У Добронравова был размах Чернышевского. Из "студенческой жизни" - это так, упражнение; к концу войны он приступил наконец к своему заветному - затеял роман (размер - 50 листов!): архиереи, митрополиты, мантии, митры, золото, драгоценные камни, лампады, колокола - и назвал "Черноризец". (Название удачное - "по контрасту"; впоследствии переменил: "Князь века" - "по-оперному"). Несколько глав он читал мне. Особенно "Всенощная" - такого никто не использовал: "всенощная"! - до ощущения ладана и чувства "подъема", когда на Великом выходе запоют "Величание" - сначала клир, потом певчие -

Величаем Тя, Пресвятая Дево,
Богоизбранная Отроковице --

В революцию (1917) Добронравов забросил "Черноризца", а в 1920 году поехал в Кишинев [?] проводить мать, сестер и брата - "вернусь через месяц!" - да там и застрял, рукопись осталась неоконченной.

Осенью 1924 г. Добронравов появляется в Париже. Я очень обрадовался - "вот, думаю, теперь и помереть не страшно, Добронравов не бросит, похоронят!" - "и справку какую по церковной истории или в службе, Добронравов скажет!" "Новая бурса", журнал "Заветы", Р. В. Иванов-Разумник, Шишков, Замятин -- я напомнил о "Черноризце". И секретарь "Заветов" С. П. Постников пишет ему из Праги о "Черноризце". "Рукописи нет - где-нибудь в Петербурге и,

должно быть, пропала на квартире!" Но это надо. Ведь это то, что он должен сделать,и единственный, кто может сделать.

Добронравов занялся "Черноризцем". И,как когда-то в "Заветах", приходил читать. Называлось "Князь века", не "Черноризец".

Тогда Добронравову было тридцать лет, и у него был хороший голос-баритон, а теперь под сорок,и голос пропал. Я слушал, но поправлять не мог - в сорок не переделываются. "Мантия Святейшего!" - или никогда не сбросить? Или восстанавливать - тоже ничего не выйдет? Там был "Черноризец",теперь "Князь века" - "беллетристика" - очень "красиво" - какие эпитеты, образы! -

- Беллетристика - вещь в общежитии очень нужная и полезная. Пока женщины будут рожать детей и "герои" погибать из-за "женщины",а "героини" краситься (украшаться) для "героев", пока будут устраивать (и всурьез!) публичные обеды,пока будет такое "нормальное", как же без беллетристики? "Князь века" - книга имела огромный успех и здесь, в зарубежном несчастьи, и там, на родине, в России - но ведь я-то хотел другого - пусть никакого успеха! - такой ведь особенный материал - и ведь никто больше не может, не знает такого --

- "Мертвые души" не беллетристика, "Полунощники" не беллетристика, можно сколько угодно читать, и никогда не скучно. А "беллетристика" на раз. Во второй раз не возьмешь. Нельзя "перечитывать".

"Ну хотя бы раз!"

- И о большем нам нечего думать. В самом деле, все литературное поколение после Гоголя, Толстого-Достоевского, Лескова - все мы - ведь *второй сорт* и вот нисколечко не прибавили в книжную русскую казну... разве наши пожелания?..

Про свои пожелания я мог говорить Добронравову, но встреваться в "Князя века" я не мог, - теперь уж не 50 листов, а говорилось о 30, это - я даже себе представить не могу. Одно только, чтобы закончил. А то все отдельные главы, и не поймешь, не то из середки, не то из конца.

А потом вдруг Добронравов исчез. И в последний год был у нас раза два. Я понял, хотя и боялся себе сказать: "Черноризца" он не пишет". И все както отводило от этого разговора. Добронравов рассказывал советские анекдоты:

"Ленин помер,а дело его живет!" (Записка,оставленная ворами в ювелирном магазине).

"Русская колония празднует свой праздник!" (Ответ иностранцу, что значит - звонят колокола в Москве на Святой).

"Авторская скромность". (Надпись на деньгах).

И странно, рассказывал он очень просто, безо всякой "мантии" и ни одного "оперного" оборота.

Нынче на Пасху - 1 мая - забрались мы в церковь спозаранку. Пугали нас: трамвай в восемь прекратится, и народу найдет, затолкают. Вот мы с восьми и стали. Стою и дремлю, и озноб - будет жарко, нечем дышать, вот наверху окно и отворено. Так - идешь по Никольской, а у Пантелеймона стоят по стенке, дожидаются: мощи привезут! - стою и жду. В церковь зашел Добронравов: к плащенице приложиться и свечку поставить. -- Он был очень болен: крупозное воспаление легких, недавно из больницы. Но выглядел ничего - очень только бледный - а нарядный такой. Я свое: о "Черноризце". Но он рукой так - пенсне поправил.

"Ну что нового на Олимпе?"

"Мне - насчет "Олимпа"!? - И прошу: собрать бы те главы "Черноризца", что он написал, - и мне дайте, я придумаю!"

И простились.

В последний раз. На Преполовение (среда 4-й недели) помер: недели не пролежал,"вдруг одно легкое истлело" - скоротечная чахотка!

А когда он приехал в Париж, к кому я только ни приставал: "послушайте, "Черноризца" Добронравов прочитает!"

"Какой Добронравов?" (а были: "какой Тихонравов?") - вижу, никто не знает!

"Добронравов, автор "Новой бурсы" (нет, не слыхали! - Разумник Васильевич, Леонид Михайлович,Добронравов помер!), автор "Новой бурсы", родной брат Левитова (с его "белой дорожкой", открывшейся ему весной!), Слепцов (с его "фе - фе - фофем"), Николая Вас. Успенского (с жестокими рассказами и жесточайшим концом: в Москве зарезался), русский из русских

ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ГРЕБЕНЩИКОВ
(1887-1935)

Помер Яков Петрович Гребенщиков, один из самых ревнивых и яростно-ревностных библиотекарей Государственной публичной библиотеки, известный всему книжному Петербургу под именем "василеостровского книгочия" и знакомый всякому, кому приходилось бывать в библиотеке - безымянно по бороде и падающим, спускающимся, как на колок, на нос волосам при исступленно-восторженном говоре на старинный манер протопопа всея Руси Аввакума.

Помер Яков Петрович Гребёнщиков, как сам он величал себя, не около дорогих его сердцу книжных сокровищ Публичной библиотеки,в которой служил с войны до прошлого года верой и правдой, "отдавая все свои силы", и не на 15-й линии Васильевского острова, окруженный любимыми книгами "первого издания", которые добывал самоотверженно, отказывая себе в самом необходимом житейском, а в Сибири, в Новосибирске, быв. Ново-Николаевске,в ссылке.

Я помню, в самую темь военного коммунизма,в годы 1918-1921, у кого только не было по слабости че-

ловеческой мысли бежать куда глаза глядят - "оставить Россию? а кому же сторожить русскую книгу?" - Яков Петров приходил в ярость. Какая преступная рука, какого изменника России могла подписать ссыльный приговор книголюбу, стражу Государственной книжной казны, незаменимому работнику, подлинно "герою труда"!

Я. П. Гребенщиков из города Ржева, пролетарского происхождения, сам своим трудом при всех лишениях бедности добывший себе высшее образование, человек чистого сердца, с душой песенной и умилением. Любитель старинного церковного пения, пел на клиросе и, имея голос козий, но при необычайном одушевлении и козлогласуя, приводил в чувство и благоговение молящихся. И вообще зол был песни петь. В темь и "глад и мор" военного коммунизма, в годы 1918-1921, я не запомню жизнерадостнее человека во всем Петербурге: в какой только ячейке, на каком только собрании: и у балтморов, и у красноармейцев, и на всяких "трубошных" заводах во всех районных отделах и подотделах не выступал он, "бия себя в грудь", часами читая о своем любимом библиотечном деле и библиографии, а после лекции - песни петь.

Книжники! вам это понятно: за неточное примечание, за перепутанную хронологию он мог на всю жизнь поссориться с приятелем, а за разорванную или похищенную книгу вступить в рукопашь.

На пасхальной службе в Сергиевском подворье, на Криме, под старинное пение превосходного певца Ивана Кузьмича Денисова подымалась и проходила перед моими глазами, как живая, извечная Россия от первопечатника Ивана Федорова до - Якова Гребенщикова. Эта песенная традиция, связанная с книгой - русской книгой - русским стилем - не бабьей, заслюнявленной, рассахаренной, "патриотической", не насильственно усеченной "без музыки" глухих душ и не мещанским говорком "народных" рассказчиков, а полнозвучной русской речью со строгим, строжайшим ритмом разливного "знаменного распева", проникающего

лад гоголевской речи,через старинные киевские распевы, а главное, "думы", прозу Салтыкова,Толстого, Гончарова... Да, и Яков Петров Гребенщиков, быв. библиотекарь, стоял передо мной в ряду первопечатника и протопопа, держа в руках русскую книгу, за которую готов был положить душу.

Яков Петрович, при нашем горестном расставании вы принесли и дали нам в наш страннический путь "русскую землю" из Таврического сада, вы подали в день нашего отъезда из России в Казанском о "путешествующих" и о болящем Александре - умирал Блок, которого вы любили за стихи и за его мучающуюся совесть, ваши горькие слезы над нами, - "покинуть Россию!" Яков Петрович, в наш век, когда "человечество превращается в Бестиарий, и не человеческий голос, а бестий визг, окрик и клич гасит слова, а ваши любимые книги обречены на пожар, - за вашу любовь к книге, которую люблю, за вашу любовь к старинной песне, которую люблю, - и что есть прекраснее догматиков, песней, сложенных в честь Богородицы? - на пасхальной службе я подумал, это не сожжется, не может сгореть, и когда провалится мир, испепелится земля, только *человеческое* слово, как эти песни, вылетевшие из человеческого сердца, не сгорят, а зажгутся созвездием, и в этом созвездии будет гореть и ваш козий,но тогда чистейший голос: "Ангел вопияше".

П. Е. ЩЕГОЛЕВ
(1877-1931)

Умер один из замечательных русских людей - Павел Елисеевич Щеголев: ума неизмеримого и богатырского телосложения, ходящий по бескрайнему книжному морю русской летописи, "яко по суху", - ученик Алексея Александровича Шахматова и Александра Николаевича Веселовского; высокой культуры; классик,

читавший и по-санскритски, и по-персидски; в русском говоре - образец живой русской речи; искусный мастер и книжный справщик в русской грамоте; любил Россию, русскую землю, русскую литературу и из всех Льва Толстого,от которого хранил заветный автограф, - "что каждый человек должен *сам* думать"; и в взволнованные минуты называл Россию по-старине,как только свой, Русью; известен как исследователь Пушкина и историк русского революционного движения; родился в 1877 году в Воронеже, окончил Петербургский университет; первый его ученый труд напечатан Изв. Отдел. Рус. Яз. и Словес. Имп. Акад. Наук,СПб.1899-1900: "Очерки истории отреченной литературы: Сказание Афродитиана о чуде в Персиде" - о том, как по звезде персидские волхвы ходили с дарами в Иерусалим на поклонение Младенцу и, вернувшись в Персию, сделали изображение Христа и Богородицы и записали на золотые листы историю Рождества - золотые листы хранились в кумирнице; молодость провел по тюрьмам и в ссылке; общая участь и книжное почитание сблизили нас - помяну старого товарища и моего литературного "крестного" (воистину "крестного"!),помогшего мне положить начал в моей трудной "словесной" работе, читая публично еще никогда не напечатанные произведения никому неизвестного автора и стараясь устроить их в печати - "стенка на стенку!"

ПАМЯТИ ЛЬВА ШЕСТОВА

Последнее напечатанное Льва Шестова - о Бердяеве; последний рассвет - на рю Буало: окна клиники против нашего окна. Это судьба. И этой судьбой однажды соединило нас, и на всю жизнь. Да иначе и не могло быть. Во всех моих "комедиях" Шестов играл несомненно главную роль, да и в нашей литературной "горькой" участи было похожее: оба мы были "без пристанища" - с неизменным редакционным отзывом "не подходит" или деликатно сказанным "нет места" или

обнадеживающим безнадежным "в следующий раз". А познакомил нас Бердяев, всеми любимый и всегда желанный. Был конец ноября, но не бодлеровский, с болью глухо падающими дровами для камина, а киевский - этот сказочный, захватывающий душу вестник рождественских колядок, с теплым чистейшим первоснегом. На литературном собрании доклад В. В. Водовозова. Бердяев повел меня куда-то вниз,и не в "буфет", как я подумал, или мне так хотелось выдумать, а в "директорскую" с удобными креслами. "Да где же тут Шестов?" И вдруг увидел: за конторкой под лампой... сидевший,сняв пенсне, поднялся, мне показалось,что очень высокий и большие руки - конечно, "Лев Шестов"! Это и был Шестов. "Рыбак рыбака видит издалека!" - сказал он, и на меня глянули синие печальные глаза. Таким я его вижу. И вот, взглянув на него в последний раз в его последнее ноябрьское утро в воскресенье, я увидел, как на мой пристальный взгляд синий печальный свет заструился из-под сомкнутых век и улыбкой осветилось бескровное застывшее лицо.

"Человек" - я говорю о человеческом мире - пропадает именно от своей тупой "разумности" и холодной "расчетливости", этот самообманывающийся непогрешимой "математикой" игрок! А что это так,не надо и смотреть, чтобы почувствовать, что творится вокруг, какое бездонное горе разливается по миру в этом мире заочных бумажных приговоров, теоретических программ, без слуха к живой трепещущей жизни. Шестовское "безумие" - "апофеоз беспочвенности" - был вызов именно этой мировой бездушной машинности, этому подлинно безчувственному идолу "логилизирующему сухарю", для которого горячее человеческое сердце с его безграничной волей и чудесами - *сапогом!* - "дважды два четыре!" А ведь за каждый вызов, по установившимся законам жизни ("природа" богаче, глубже и разнообразнее, но как-то так повелось и одно из случайных стало нормой!), за каждое наперекор какому-то "равнению" - так это не проходит. Жизнь ему и показала: годы высиживался он в

Коппе под Женевой,а тут по три часа в день шагал в Булонском лесу. "По-нашему не согласен,так вот же, поди посиди или погуляй, посмотрим!"

Мне, с моим взбалмошным миром без конца и без начала, Шестов пришелся на руку, легко и свободно я мог отводить свою душу на всех путях ее "безобразия". И моим "фантазиям" Шестов верил, доверчиво принимая и самое "несообразное". И никогда я не скажу, говоря "никому нет дела!", чтобы хоть когда-нибудь при этой отчаянной мысли я назвал себе Шестова. Как один из старших моих братьев,Шестов учил меня житейской мудрости на манер гофмановского кота Мурра: воображаете, какая выходила ерунда! И еще потому мне было легко с ним и свободно - вот кто не деревяшка, не эти безулыбные, лишенные юмора трезвые люди, среди которых дышать нечем!

"Беспросветно умен", так отозвался о Шестове Розанов, а я скажу и "бездонно сердечен",а это тоже дар: чувствовать без слов и решать без "расчета".

"Лев Исаакович, ты "понимаешь", я поднялся по этой веревке на страшную высоту, крепко вцепился, под ногами пропасть, заглянуть вниз... ветер меня разносит,и мой голос сливается с его щемящей бурей, и какие-то остекленелые надутые куклы, они стояли рядами в этом вихревом пространстве,бездушные, они караулили мое подрыгивание на веревке, но я поднимался выше. Ты на путях своего духа в этот миг говорил с Сократом. Я провожал тебя до предела... А эту горстку земли я бросаю тебе в могилу".

М. М. ПРИШВИН

"Я счастлив, что живу с вами на одной планете!" Это обращение Горького к Пришвину при первой встрече. В этих немудреных словах перелив чувств и кипь растроганного сердца, сказавшаяся в несуразной астрономической "планете". А как не восчувство-

вать и не полюбить Пришвина и всякому,для кого дороги и близки эти кусты, пеньки, ямки, овражки,логи, кочки, хохолки - вся необъятная, бедноватая, в чем-то печальная русская природа. Пришвин нашел для нее слово - гремящее, как лесной ключ, сверкающее, как озимые росы. Повторяя за ним это слово, видишь и чувствуешь живую русскую землю.

Но пространства России не Москвой сошлись: на север она за полюс, где в зимнюю бесконечную ночь костры зажигают там, за облаками, и небо полыхает в переливных, осыпающихся на землю огнях; на юг она за белоснежный Эльбрус с памятью Арарата и проклятого жадными богами огненного Прометея; на восток она через верблюжьи киргизские степи со звездами-птицами до серебряного волшебного Алтая и по Китайской стене вдоль Сибири до Великого океана, царства оленей, рек - как моря́, и чародейского шаманского бубна.

И на всех этих пространствах - на тысячи тысяч верст - ступила нога русского - и уж он не Пришвин, русский, а "Черный Араб", загадочный и ни-на-что-не-похожий, а там, у Даурских гор, он превратится в Белого Китайца. И всюду будет желанный гость.

И то, что глаза его увидят - глаза его зорко-птичьи, и то, что тронет его сердце, открытое ко всему живому Божьему миру, он, одаренный слухом к свисту птиц, дыханию трав и мурму зверей, передаст в своих рассказах русским словом, памятным на тысячи тысяч верст.

"Я счастлив,что встретился с вами, - скажу я, - и на мою долю выпала честь направить вашу руку в трудной работе над словом".

В литературе Пришвин выступил в 1907 году: это первые книги географически-учебного характера - очерки: "В стране непуганых птиц" (1907) и "За волшебным колобком" (1908). Но как писатель Пришвин начинается с рассказа "У горелого пня", напечатанного в петербургском избранном журнале "Аполлон" в 1909 г. А вскоре после встречи с Горьким "Знание" выпустит три книги его рассказов, куда входит "Чер-

ный араб", "Крутоярский зверь", "Птичье кладбище" (1913-1914). И имя Пришвина упрочится в кругу русских писателей.

Пришвин идет не из пуста, он продолжает традиции русской литературы. По тишине и растворению благодати Пришвин подхватывает голос С. Т. Аксакова (1791-1856) с его разливной в мире трепещущей жизнью, где не найдете ни косого взгляда, ни злого зуба, а есть только заботливая теплая любовь. По словарю Пришвин продолжает Е. Дриянского, автора "Записок мелкотравчатого" (1857),первого в русской литературе по богатству языка, а тема Дриянского общая с Пришвиным: земля, небо, звери и птицы. В своих очерках странника Пришвин ученик В. Г. Короленко (1853-1921), то же внимание,бережность и чистота. А в своей памяти о первых годах жизни Пришвин идет с Гариным-Михайловским (1852-1906), автором "Детства Тёмы". А то, что назовут пришвинским - это его мир зверей: его олени, гуси, собаки, перепела, ежик, - тут Пришвин продолжает Решетникова (1841-1871), открывшего человекообразных, Пилу и Сысойку, стоящих на грани "безгрешных" зверей. Решетников подслушал слово в бессловесном человеке, а Пришвин расслышал голос немого зверя.

Когда-то елецкий "черный араб", а теперь как лунь бородатый, белый медведчик и волхв - *Михайло Михайлович Пришвин*. А над ним серебряные тихие русские звезды.

Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России. И как это странно сейчас звучит, этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением, что есть Божий мир с цветами и звездами и что недаром звери, когда-то тесно жившие с человеком, отпугнулись и боятся человека, но что есть еще в мире простота, детскость и доверчивость - жив "человек".

НАД МОГИЛОЙ БОЛДЫРЕВА-ШКОТТА
1903 - 1933

Когда гроб показался во дворе Монпарнасской церкви - медленно и важно, а этот двор мне,как тюремный в Таганке, я вспомнил - вот точно так же Шкотт вошел к нам на villa Flore,где мы жили в 1927 году, и я узнал ее в этом дощатом, очень узком,медленном и важном гробе,как тогда,в его очень узком, но опрятном пиджаке, - "глядела бедность".

Последние дни Пасхи - "Христос Воскресе",с которого начато и кончено отпевание, и за этим необычным - пасхальным - и при виде черным покрытого и бедными цветами, но цветами! гроба - не чувствовалось смерти. И только там, на дальнем, открытом, как среди пустого поля, Тие, когда в одну из узких, рядами заготовленных ям упали первые комья - твердый ком за комом - земля о деревянную крышку гроба - этот обратный звук вскрику человека, впервые увидевшего свет, - последний безответный из мира, я всем существом моим до дрожи ощутил глухой и непреклонный голос смерти, но я понял, что уже больше не надо "думать", по крайней мере весь кошмар верональной температуры кончен... а о снах в бестемпературном "мертвом сне" я не подумал.

Жизнь Шкотта за эти шесть лет с нашей встречи - круг напряженнейших дум,суровый литературный путь, тяжелая физическая работа и тяжкий недуг.

"А ведь и самому упорному надо какую-то передышку! ну, просто выспаться, переменить место, - тогда и в самом тягчайшем недуге освеженные силы дадут надежду!" Это я сам с собой - не могу примириться, чтобы взять так - и кончить бесповоротно.

А какие они - крокморы! засыпали да не совсем - стоят над незасыпанной: "лопаты на три осталось, завтрашний день кончим!" И догадываться не надо: дал кто-то пять франков - смотрим: а уж все и готово. Дали еще - и уж крест воткнут, цветы кладут. "Такое их метье!" - сказал кто-то. Ну,точно дети.

В памяти о человеке всегда остается, хотя бы и последняя мелочь, но что особенно тронет и станет незабвенным: это тогда, еще в первое знакомство на Пасху принес Шкотт маленькую ветку сирени, и веткой-то нельзя назвать, а так, лопасток какой-то от ветки с белыми звездочками-цветами, ветку, из которой -- и я вспомнил, как однажды в Петербурге, тоже на Пасху прислали нам "добрые люди" корзину с ландышами - "прямо из Ниццы" - и стоила она шестьдесят рублей, как объяснил посланный, а потом, уже в Париже я не раз видел такие корзины - удивительно свежие ландыши! - но никогда я не видел и только однажды такую ветку, из которой - "глядела бедность", и перед ее болью в вихре моих мыслей и глуби моих чувств осветился стол,комната,villa Flore, avenue Mozart - весь Париж. И теперь я все беспокоился о наших последних цветах: ведь крокмору - дело привычное - и не заметит, и не заметишь, сапогом смахнет! - венок от "Технической школы",где последние годы учился Шкотт, к кресту поставили,и от креста дорожкой цветы тех, кто в последний раз вспомнил, и вижу, наши - желтые ромашки - память о его материнской родине России, и ландыши.

В ваших странствиях, Иван Андреевич,дорога привела вас на villa Flore, в мой мир "по карнизам" и мир "слова", вы ступили на трудный путь "слова",но слово - "слово без денег, будь оно и самым раскаленным, оно бескровно,ничего!" - и что я мог и что могу сделать для устройства литературных дел? - ничего. А моя работа - впрочем, разве я могу удивить вас и самой беспощадной требовательностью - вы такого крепкого корня: вам напролом и упор - наследственная стихия".

Родословие Шкотта - от "старого Шкотта", Джемса, Якова Яковлевича, память о котором долго хранилась на Москве: "распахать всю русскую землю усовершенствованными орудиями и научить русских детей английскому языку!" - вот с какой затеей приехал Шкотт в Россию сто лет назад. Сын его Александр был

женат на тетке Лескова, и в судьбе Лескова семья Шкоттов имела решающее значение.

Имя Лескова Иван Андреевич слышал с детства,но близости никогда не чувствовал. Не Лесков, а Достоевский, и особенно "Необходимое объяснение" Ипполита из "Идиота" и Кириллов из "Бесов", вот куда были обращены глаза Шкотта.

Умный, а это большая редкость, начитанный, и это не часто, не пустой человек и не легкий - ответственный, и без этой "шутливой беззаботности", хорошо читал и хорошо смеялся ...и большой искусник - делал тонкие миньятюры на слоновой кости и решал головоломные задачи, он добился бы своего и стал бы в литературной работе мастер.

Весной 1927 года перед своей поездкой в Нормандию на работу в Колмбеле в первую нашу встречу Шкотт принес сказку в стиле Леонида Андреева, беспредметную, где действуют Электрон, Океан и Голоса. Но в разговоре выяснилось, что у него есть русская память - повесть "Мальчики и девочки", погребена в "Современных Записках", а кроме русской памяти, есть и наблюдения над "живой жизнью" русских в Париже - ряд рассказов: "Пирожки Ивана Степаныча". С этих "пирожков" и началось его литераторство под фамилией Болдырев.

На металлургическом заводе, где работа была очень деликатная - "постоянно на сквозняке или иногда приходится под дождем все восемь часов",а после работы, в комнате-казарме на четырнадцать человек, Шкотт "настойчиво и упорно" писал "Цветную сумятицу" - его третья тема: "сон и безумие".

"Мальчики и девочки" вышли в 1929 году отдельной книгой в издательстве "Новые писатели" - "Москва".

Но ни "сны", ни "пирожки" не вышли и продолжения не появлялось - впрочем,где и появиться? А тут еще "требовательность к себе" и "ответственность" - наверзать-то легко и даже очень, Шкотт очень хорошо понимал всю смехотворность и всю жалость звания "искусственного" писателя или славу "кинематографического" мотылька.

С кладбища нас вез товарищ Шкотта дальними путями, но дорога не показалась утомительной: говорили о Шкотте и его судьбе - невеселое решали - и какой это холод и черствость - круг человеческой доли - на глазах погиб человек! - и со словами руки у меня горели. На набережной недалеко от Сан-Мишель автомобиль приостановился - затор - я заглянул в окно: седые, еще седее показались мне камни Нотр-Дам! - и вдруг на узком тротуаре среди локтями пробивавших себе дорогу... и я узнал ее - "глядела бедность" - это моя неразлучная сестра со всей ее болью, гневом и моим несмирным смирением.

НАШИ ОБЖОРЫ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА

ПАН ХАЛЯВСКИЙ - 1840

Григорий Федорович Квитка-Основьяненко (1778-1843) - как мало кому известно это имя в России, а между тем его хронику "Пан Халявский" читали, как "Мертвые души" Гоголя. Значение Квитки для русской литературы чуть ли не гоголевских размеров: и как предшественника Гоголя (1808-1852), и как единственного давшего образец южно-русской речи в ее обиходе или, по Аввакуму, "природной".

В русскую литературу войдут три значительнейших памятника: автобиография протопопа Аввакума (1620-1682) - образец просторечия XVII в.; судебные показания московского сыщика Ваньки Каина (1750) - живая речь XVIII в., и "Пан Халявский" Квитки-Основьяненко. И вот уже негаданная судьба: авторы были или вне литературы, или, как "Пан Халявский" - без всякой литературной претензии,а скорее с расчетом на легкое незатейливое чтение: "Тьфу! ты пропасть, как я посмотрю! Не удивляешься, право, как свет изменяется!"

Голос сожженного протопопа дойдет из пустозерского сруба до Лескова (1831-1895), голос сыщика с

вырванными ноздрями и знаком на лбу В.О.Р. донесется с каторги до Пушкина (1799-1837), а легкая литература Квитки, проникнутая высоким юмором, даст Гоголю и материал, и воздух для нечеловеческого полета, а за Гоголем Салтыков-Щедрин (1826-1889) в своих прославленных "Господах Головлевых" и "Пошехонской старине" не раз вспомянет "Пана Халявского".

Гоголь и Салтыков - да это крепость русской литературы! И как же, повторяя эти блистательные имена, не помянуть Григория Квитку-Основьяненку, его единственное произведение, написанное им по-русски, хронику "Пан-Халявский".

* * *

Когда оканчивались борщи, то сурны и бубны в сенях возвещали окончание первой перемены. При звуке их должно было оставить кушать и положить ложки. Гости мужского пола вставали с своих мест и становилися к сторонке, чтобы дать кухарю свободно действовать. Он собирал опорожненные миски, а девки, по знаку маменьки, из другой комнаты поданному и с прикриком: "девчата? а ну-те, заснули?" - опрометью кидались к столу, собирали тарелки, сметали руками со стола хлебные крошки, кости и пр.,устраивали новые приборы и, окончив все, отходили в сторону. Тут при новом звуке сурн и бубен являлся кухарь с блюдами второй перемены и уставлял ими стол, и тогда вставший мужской пол садился по-прежнему.

За сим подносилась водка; пан полковник и гости прошены были выпить перед вторую переменою.

Вторую перемену составляли супы,разных сортов и вкусов; суп с лапшею, суп с РЫЖЕМ и РОДЗЫНКАМИ (сарачинское пшено и изюм) и многие другие, в числе коих был и суп исторический, подобно борщу, носивший название "Леопольдов суп", изобретение какого-то маркграфа Римской империи, но какого? не знаю. Любопытные могут узнать наверное из исторических рассмотрений, критик и споров ученых мужей.

При начале второй перемены пан полковник, а за ним и все гости, все же мужского пола, облегчали свои пояса. При первой и второй переменах пили пиво или мед, по произволению каждого.

Несмотря на то, что у гостей мужского пола нагревались чубы и рделися щеки еще при первой перемене, батенька с самого начала стола ходили и начиная с пана полковника до последнего гостя упрашивали побольше кушать,выбирая из мисок куски мяс, и клали их на тарелки каждому и упрашивали скушать все; даже вспотеют, ходя и кланяясь, а все просят, приговаривая печальным голосом, что конечно-де, я чем прогневал пана Чупринского, что он обижает меня и ничего в рот не берет? Пан Чупринский, кряхтя, пыхтя и тяжело дыша, силится съедать положенное ему на тарелку, против силы, чтобы не обидеть хозяина.

Мясо разрезывалось на тарелке имевшимся у каждого гостя ножом, а ели - за невведением еще вилок - руками.

Третья перемена происходила прежним порядком.

За третьею переменою поставлялись блюда с кушаньями "сладкими". То были: утка с родзынками и черносливом на красном соусе, ножки говяжьи с таким же соусом и с прибавкою "миндалю"; мозги разные, сладкие коренья, репа, морковь и пр. и проч. ВСЕ ПРЕИСКУСНО ПРИГОТОВЛЕННОЕ. При сей перемене пан полковник снимал с себя пояс вовсе, и батенька,поспешив принять его, бережно и почтительно несли и чинно клали на постель, где они (то есть батенька с маменькою) обыкновенным образом опочивали. Гости мужского пола, сняв свои пояса, прятали их в свои карманы или передавали через стол своим женам,а те уже прятали их у себя за корсет или куда удобнее было. При третьей перемене поставлялись на стол наливки: вишневка, терновка, сливянка, яблоновка и проч. и проч. Рюмок тогда не было, и их не знали,*и их бы осмеяли*, если б увидели, а пили наливки теми же кубками и стопами, что пиво и мед. Всякому предоставлялось выпить по воле и комплекции.

С прежним порядком поставлена и четвертая перемена, состоящая из жареных разных птиц, поросят, зайцев и т. п.; соленые огурцы, огурчики, уксусом прилитые, также с чесноком, вишни, груши, яблоки, сливы опошнянские и других родов - горами навалены были на блюда и поставлены на стол. Чем стол более близился к концу, тем усерднее батенька упрашивали гостей побольше кушать и пить, чтоб их после не осуждали, что они не умели угостить. Уже на блюдах мало чего оставалось, но батенька и остатки подкладывали почетнейшим гостям, упрашивая "добирать все и оставить посуду в чистоте". Наконец, чтобы заставить гостей долго вспоминать свой банкет, батенька упрашивали пана полковника и гостей уже обоих полов выпить "на потуху", по стаканчику медку. Тут же, пожалуйте, какая штука выйдет: в продолжение пития наливок, как уже к пиву и меду не касалися, искусно был подменен мед медом же,но другого свойства.

Прошенные гости, чтобы сделать хозяину честь и доставить удовольствие за его усердие, помня, что мед был отлично вкусен, охотно соглашались приятным напитком усладить свои чувства. Мед на вид был тот же - чистый, как ключевая вода, и светлый, как хрусталь. Вот они,наливши в кубки,выпивали по полному. Батенька, поглотив свой смех и уклонясь пану полковнику и всем гостям, вежливым образом просили извинения, что не угостили, как должно, его ясновельможность и дорогих гостей, а только обеспокоили их и заставили голодать.

Пан полковник был до того времени многоречив и неумолкаем в разговорах со старшинами,близ его сидящими, после выпития последнего кубка меда онемел как рыба: выпуча глаза, надувался, чтоб промолвить хоть слово, но не мог никак; замахал рукою и поднялся с места, а за ним все встали... Но вот комедия! встать-встали, да с места не могли двинуться и выговорить слова не могли. Это - надобно сказать - батенькин мед производил такое действие: он был необыкновенно сладок и незаметно крепок до того,

что у выпившего только стакан отнимался язык и подкашивалися ноги.

Проказники батенька были! И эту штуку делали всегда при конце стола и хохотали без памяти, как гости были отводимы своими женами или дочерьми, а в случае если и жены испивали рокового напитка, то и их вместе проводили люди.

Пана полковника, крепко опьяневшего, батенька удостоились сами отвести в свою спальню для опочивания. Прочие же гости расположились, где кто попал. Маменьке были заботы снабдить каждого подушкою. Если же случались барышни, испившие медку, то их проводили в детскую, где взаперти сидели четыре мои сестры.

ВСТРЕЧА
(МИЛЮКОВ)

В мучительных и резких "узлах и закрутах" моей извечной памяти я различаю встречи и имена. Среди имен неизгладимо: *Милюков*. С его именем соединилась для меня блестящая полоса, из которой высвечивают письмена: *свобода*. Так оно впервые почувствовалось и представилось глазам моим; таким словом и выговорилось.

Я допевал свои последние "догматики",и в "величании" под большие праздники белым серебряным светом жарко подымался мой голос над гулом голосов. Регент Лебедевского хора,сам Василий Степаныч, почмакивая губой, поглаживал меня, ерша мои вихры (открывший мой дар, он из всех первый догадывался о приближавшемся конце!); у старика-священника блестели на усталых глазах слезы, где была и горечь сердца с его бесчисленной своей и чужой бедой, но было и умиление -- этот цвет горечи, примиряющий с неизбежностью и непоправимостью человеческой судьбы; старший мой брат, первокурсник-студент, наклонялся ко мне и, называя меня моим зве-

риным полуименем, тихонько дотрагивался до моей уморительной пуговки - моего сломанного носа,и сами лягушки - все эти мышиные бабушки и тетки, жердястые и поджарые, уксусные и озабоченные, вечно ссорившиеся и мирившиеся друг с другом и всегда шунявшие и шпынявшие меня за дело и без дела, тут только похвально и одобрительно качали головой, и мне запомнилось, одна сказала: "Много тебе, оглашенный, на том свете грехов простится!" И сам я чувствовал и улыбался в ответ, блестя чересчур белыми, не по возрасту, зубами. Но я уж понимал, что не я, это мой голос, как когда-то моя счастливая и вдруг изменившая мне рука, и влечет и трогает,и вызывает из сердца одну горячую любовь, и что этому подходит конец: Василий Степаныч объяснил мне, что альты - до четырнадцати, а что сверх - петух. Я выходил со своего чердака и шел приговоренный ко всенощной, как на последний суд, и там не луна, колдовавшая мне на чердаке, а свечи - в волшебном свете свечей я пел, как очарованный.

Моя переломленная жизнь, мои загадочные "скандальные" встречи, ославившие меня по Москве, решили мою и без того непохожую судьбу,но не подполье, а чердак - на чердак загнало меня. И там открылись передо мной первые видения сна - я стал записывать, составляя свой бестолковый лунный сонник. И там же произошла необыкновенная встреча ("встреча" по-русски больше, чем "нос-к-носу", а это, как и "напасть", "стреча" - судьба): в кладе, который я открыл под хламом, оказались среди книг "Вертер" и "Фауст".

Моя "чертовщина", если хотите, - от Гете; "Басаврюк" Гоголя и "Черная курица" Погорельского пришли позже. Душа моих "снов" - от Новалиса: его "голубой цветок",зачаровавший русскую литературу,ведь ни в одной из литератур нету столько снов, как в русской, начиная с Пушкина - подсчитайте у Толстого, Тургенева, Достоевского! - заглянул и ко мне в мое слуховое окно в полнолуние. И мною повторяемое: "пишется не для кого и не для чего, а только для

того,о чем пишется" - да ведь это же отголосок Новалиса, его музыкального определения: "цель искусства не содержание, а выполнение". И то же со "сказкой", которая для Новалиса высшая форма литературного творчества. А мое пристрастие к волшебному, "таинственному" от Э. Т. А. Гофмана. "Meine Muttersprache - Deutsch!" И когда я однажды так выразился, поднялся хохот: кому же, в самом деле,не известно мое доморощенное словесное происхождение от Аввакума, Мельникова-Печерского и Лескова. А между тем это так - в буквальном смысле: моя мать, получившая образование в Петер-Пауль Шуле, не только писала и говорила, но и "думала"-то по-немецки - оберпастор Дикхов своей педагогической системой умел и самую русейщую московскую "найденовскую" душу с Земляного Вала нарядить по-свойски в немецкие Введенские горы Лефортовской части! - и первые слова, услышанные мною и запомнившиеся, были по-немецки. От кормилицы я вслушивал русское "природное", и ее сказки,и ее песни - с русских полей и лесов; тараканомор - "Житие Аввакума"; медник Сафронов - апокриф, а от матери - Гете, Гофман...

За чтением проходили дни и вечера на чердаке. Совсем-совсем я затих, и на фабричном дворе не слыхать было моего голоса, да у меня его и не было больше, а какой-то и вправду "петух". Так продолжалось до осени. С наступившими холодами я перебрался в комнаты. Началось ученье. И опять беда - опять ломка: очки. В очках - это было грубое нарушение всего моего внутреннего мира - все во мне вывернулось - все повернулось другим. Я и рисовать стал по-другому, и появились другие книги: теперь я с увлечением читал Писарева.

Чудно это, конечно, этот переход от Фауста к Писареву, но разве по устремлению так уж несообразно? Вспомните вторую часть... только передо мною был не берег океана с досадной лачужкой Филимона и Бавкиды, а весь мир стал мне океаном, я понимаю, и тогда еще, когда я допевал мои последние "догматики", мой голос подымался над этим океаном, а те-

перь, безголосый, горячими губами я только повторял на литии за голосом, подымавшимся со дна океана: "и о всякой душе... скорбящей и озлобленной, помощи требующей!" Сам я никогда не был и не чувствовал себя озлобленным, но моим резким глазам суждено было в те переломные годы заглянуть в "пылающий колодезь".

Товарищ брата, студент Беневоленский, сын священника от Симеона Столпника, давал мне книги по философии: Виндельбанд, Паульсен, Куно-Фишер; и Рекламовское издание Ибсена, а из Университетской библиотеки про Китай - мое тогдашнее увлечение,как бабочки и гербарий. А Суворовский, племянник регента Василия Степаныча - это он мне принес Писарева, а за Писаревым "Что делать?" и книгу за книгой от Слепцова до Коронина: из всех "народников" после Слепцова я назову Глеба Успенского, и я не удержался и в классном сочинении помянул автора "Власти земли" и получил двойку с припиской: "за курносого зайца".

Я помню московский мороз,с кристаллическим звуком; деревья Найденовского сада и соседнего Хлудовского, белые в сверкающем инее, чащобясь, стояли, как лес.

А вся тесная даль там, где фабричные трубы, сквозь трубы багрово-клубящаяся, и из тяжких дымов кровавый глаз солнца: будет завтра еще крепче мороз.

В этот день приходил Суворовский, он показался мне особенно взволнован, и было похоже, как однажды он пришел сказать о своем брате-семинаристе: "зарезался перочинным ножиком"; взбудораженно он рассказывал брату какую-то университетскую историю и с возмущением, что "приват-доцент Милюков выслан!"

В мою черную кипь его слова были искрой. Все слилось передо мной в одно слово, оно было беспредметно, но глубоко восчувствовано, ведь это была та стихия, без которой, как без воздуха, дышать нечем, а имя ей - *"свобода"*. И для меня тогда стало

ясно - мой путь жизни. И я уж не мог понять, как иначе можно жить на свете.

И тот же Суворовский как-то после летних каникул рассказывал о Звенигороде, где жил он в санатории, и в той же санатории жил Милюков. Суворовский жаловался, что за лето так мало сделал и что "волей-неволей обращаешься в чеховского героя".

"А вот Милюков, он и в ванне с книжкой сидит, читает!"

Эту легенду о Милюкове, хотя Суворовский уверял, что собственными глазами видел, я принял всурьез: все эти чеховские герои вызывали во мне досадно-горькое чувство, как пьяницы, а работа подымала рвение: я все хотел знать.

А засветившаяся мне "свобода" в памятный мороз и мой природный наперекор провели меня по тюрьмам через всю Россию и вывели в Усть-Сысольск. Там я жил, как когда-то на чердаке, там начал писать. Но с той поры на мне лежит упрек в "необщественности". Правда, я не ходил ни на какие собрания, но ведь для меня навсегда остались горящие письмена: свобода - свобода и думать по-своему.

Храню документ - память от Василия Васильевича Розанова.

На бланке для поступления в кадетскую партию: "Ознакомившись с программой и уставом Конституционно-Демократической партии (п. Народной Свободы), я прошу включить меня в число ее членов. Фамилия. Имя. Отчество. Адрес. И т. д." На обороте адрес секретаря Рождественского комитета к.-д. партии А. П. Федорова. В примечании: "Просят обозначить, чем именно желают быть полезным партии: привлечением новых членов, распространением программ и т.д. - "Дорогому Алексею Михайловичу с просьбой подумать, решиться и подписаться - В. Розанов. См. на обороте. Подпишитесь и пошлите прилагаемое: 1 к. марка".

И я представил себе Василия Васильевича, как едет он на извозчике в Соляной Городок опускать

свой избирательный бюллетень за Милюкова: проезжая мимо Эртелева переулка, он приподнялся и, подмигнув, показал язык.

Вечером в воскресенье за чаем у Розановых гости все "общественные", разговор о Государственной Думе. В. В. ругательски ругал, по-своему: "мальчишка и дурак" - и очень важных и почтенных "членов" и до самых высоких. И я подумал, не зря я получил записку на бланке.

- Василий Васильевич, - заметил А.В.Руманов, - что это вы сегодня в "Новом Времени" написали: "встанем у престола..."

- Разве я написал?

Из моих современников-сверстников ближе мне всех Блок. По искренности и правдивости кого еще назвать? И совестливость - должно быть, такое было у Г. И. Успенского. И еще была у Блока та наивность, детскость, которая без всяких ярко отличает живой дар, такое я заметил у Пришвина и у З. Н. Гиппиус, такое было, несмотря на всю деланность и лукавство, у Андрея Белого и даже у сверхлукавого Розанова, но не было ни у Сологуба, ни у Брюсова. Блок числился, как и я, в "необщественных", но он все делал, чтобы быть похожим на "деятеля". Я видел, как тяжело ему на людях, его все трогало. И в разговорах редко не упоминалось: Россия.

Как-то после лекции Милюкова - политической - я встретился с Блоком.

"Теперь я понимаю, - сказал Блок, - в России может быть парламент. С Милюковым. Вот это настоящий европеец!"

До Парижа я не встречался с Милюковым. Я участвовал в "Речи" как гастролер: через Д. А. Левина, приятеля Льва Шестова, меня печатали на Пасху и на Рождество, и дважды в году я бывал в редакции; и на вечерах у А. В. Тырковой (Вильямс) кого-кого я не видел - и Родичева,и Изгоева,и Д. И. Шаховского (изумительное лицо, как с иконы), и

П. Б. Струве, но только не Милюкова. Память мою, связанную с его именем, я навсегда сохранил, я читал и его "Очерки по истории русской культуры", и "Государственное хозяйство в России первой четверти XVIII столетия". Но только здесь на "каторге" мы встретились. И что же оказывается: самый главный "гонитель и мучитель" моей "чертовщины" - называют Милюкова. "Непонятно", как это принято говорить про мое, и что я сам объясняю главным образом складом моей речи, которую русские люди,"окруженные иностранцами", или забыли или никогда и не знали - Милюков такого не скажет: он по всем ладам ходит и во всех русских веках,к слову слух. "Но, - говорят, - ни чертей, ни снов, этого Павел Николаевич не любит!" А кто-то от себя уж прибавил: "И чтобы без всяких рисунков (зайцев и прочих неподобных зверей)". А ведь у меня редкий рассказ без сна, ну, и всякие дриады (для античной Вальпургиевой ночи найдется немало и русских имен!).

На одном из моих вечеров я составил программу из "своего" и с Гоголем: "Страшная месть" и "Вий". И обещал быть Милюков. И не пришел.

Было такое мое утро - весна, но без солнца, в пасмурном небе собирался тихий дождик - приятный моим глазам и лягушкам. Я шел с молоком от Хаузера и у Эглиз-д-Отой по нашей улице навстречу мне Павел Николаевич. И это как раз после вечера! Но он не пришел, так объяснил он,а собирался - заседание задержало, и он представляет себе, как бы я ему наклал со своими чертями! И в голосе его,и как смотрел он,было столько добродушия, так не может говорить и так не смотрит, кто гонит.

И я подумал: "не может быть... и стоит только вслушаться, как оно звучит, ведь весь мой волшебный мир - только музыка!"

ПОТИХОНЬКУ СКОМОРОХИ ИГРАЙТЕ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕВРЕИНОВ

7.IX.1953, Париж.

Улица Буало,№ 7. Напротив гараж Simplex. Справа от гаража крытые глухие двери, растворяются опростать мертвецкую: из них выносят покойников. Когда-то клиника, а после бомбардировки госпиталь, а вскоре после Освобождения выехал госпиталь,и теперь пустые больничные здания и затихающий сад - по весне птиц меньше: нет корма.

Когда из мертвецких дверей выносили гроб - Равеля, наша улица была запружена народом и венки музыкой всех тонов заплели широкий въезд в сонорный гараж. В канун войны, когда из этих дверей выносили гроб - я ждал около, на тротуаре, и мне некому было сказать: помер Лев Шестов! И ни одного цветка. А когда, в оккупацию, торопясь, я садился в траурный автомобиль и, упираясь коленями в гроб, оглянул - на меня посмотрела пустынная улица - ледяной блестящий май.

Очередь за соседом; много лет в Париже известно: улица Буало, № 7, внизу "театр",на втором этаже "литература". Николай Николаевич Евреинов приказал долго жить.

Нечего переходить на ту сторону и караулить только оттуда раскрывающиеся двери, вход в наш дом задрапирован черным.

Не закрыв двери моей "литературы", я сошел по двадцать лет хоженной лестнице, однажды показавшейся очумелому впотьмах Одарченке квадриллион квадриллионов ступеней, и не заходя в "театр", выхожу из черного на солнце.

Стал у венков. Без вздрога буду ждать, какой теплый летний день.

Воскресенье на понедельник, в пять часов утра, я вдруг проснулся: в дом вошла смерть. И сегодня - середа - сейчас два, и через четверть часа она по-

кинет дом. Покинет и "театр". И с моим последним прощальным поклоном вдвинут гроб в ящик автомобиля. Ждут автомобиль. Это всегда нетерпеливо долго. Три венка. Казенный - не помяв цветов,могу,не нагибаясь, пройти сквозь - от Общества драматических писателей (Société des auteurs), другой венок от "локатеров", жильцов дома - убогий или, как говорили, "ничего", и третий - красная греческая "тау", на столбе перекладина, или, как говорили посторонние: "крест".

По расписанию, не опаздывая, показался от цветной москательной угловой лавки ожидаемый автомобиль. С каким спокойствием весь исчерненный отчаянным пропадом подьехал к дому, вышли рослые крокморы и скрылись за черной драпировкой.

И мне увиделось, как не стесняясь они вошли в театр, хозяйски оглядели гроб, приладились, подняли с натугом и, опустя, понесли.

И когда из-под черного, мне показалось, выволочен был прямо по земле гроб и поспешно,чуть приподнятый над землей,поднесен к автомобилю и легко сунут между колес, стало быть, нечего глазеть, дожидаясь, я вдруг схватился, не упустить бы, и по ногам провожатых подошел к Кашиной (Анна Александровна Евреинова). Мне хотелось ей выразить, как я вижу и все чувствую ее дни, ночи, часы, - все, до самых минутных секунд огонь скорбей расставания.

Наша консьержка - маршал крокморов - оттесняя от автомобиля, на тротуар,погнала за автомобилем в строй и сама стала во главе. С ней в ряду "Половчанка" в испанском трауре - Е. Д. Унбегаун, изможденная от усталости инфермьерша мадам Adam и "Папильон" Е. П. Рипшль, тоже в трауре, но как будто обезьяньем - Евреинов в Обезьяньей Палате имел знак "Комедианта Обезвелволпала", а за ними на голову выше консьержки ослопной свечой Берлиоз - Н.Д. Янчевский - и с ним стая фигурантов, а за статистами два игрушечных бутафорских автомобиля под Гринберга - импрессарио - или, подумалось, "и туда нужна рука".

Венки встрепенулись - автомобиль,не спеша,разминаясь, пополз, торопя за собой провожатых.

Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих, голодных и жалких на вид.

Иду не в строю,но вровень по тротуару. Мне мало моей белой палки, меня держит под руку поводырь - монашка - бывшая наяда - Н. Г. Львова.

За много лет редкий день,бывало,я не встречу приветливого "потешного" соседа, всегда с улыбкой, да как же иначе: "веселый" - "веселыми" в старину назывались скоморохи. Он был прирожденный скоморох - театр его природа. А там, где нет печали и улыбки, где будет скитаться его дух?

В смехе - теплота, в улыбке - свет. Его ходячий театр и наша убогая мерзлая трудная жизнь.

И вот все, что осталось: груда костей - бедный Иорик.

И разве можно было на него сердиться и требовать арифметику - долю честных дураков.

Разыгрывать театр, не все ли равно где и когда, важно как. А ведь это не с какими программами тараканоморов. В чем его только ни обвиняли.

По его почину - надоумил! - в первый год оккупации без отопления мы завели газовую фур (духовку) и сколько вечеров, пока не запретили, согревались на кухне: коротая время, я читаю вслух или рисую мои серебряные конструкции, я это никогда не забуду: тепло.

Мне памятна наша встреча: Петербург, зима,1908 год. Вскоре после моего "Бесовского действа" у Комиссаржевской, освистанный и обезображенный карикатурами, я пошел на открытие Старинного театра: "Чудо о Теофиле", постановка Н. Н. Евреинова. С каким вниманием и сочувствием было встречено представление - средневековый миракль, вошедший сказанием в наши старинные сборники. На аплодисменты вышел Адонис (определение старого каноника Jean Chuzeville'a).

"Бесовское действо" и "Чудо о Теофиле" - одной закваски, в чем же дело? И тогда я сказал себе: "культура". Конечно, и разве со мной согласился бы сняться барон Дризен, мой театральный цензор?

С этого "Чуда о Теофиле" начинается слава режиссера Евреинова.

Россия знает два имени. Ладили русский театр: Евреинов и Мейерхольд. -

ЕВРЕИНОВ - МЕЙЕРХОЛЬД

- Потихоньку,скоморохи,играйте!
- Потихоньку,веселые,пойте!

Улицу Буало пересекает улица Молитор. Процессия повернула направо - путь к Знамению.

- Прощайте! - кричу вдогонку, следя.

Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих,голодных и жалких на вид,
Тихо плететесь вы мелкой рысцою...

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ACHEVÉ D'IMPRIMER
EN MAI 1981
PAR JOSEPH FLOCH
MAITRE-IMPRIMEUR
A MAYENNE
Nº 7519

КНИГИ НА СКЛАДЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛЕВ»

П. Жильяр	13 лет при русском Дворе.
Л. Норд	Маршал М. Н. Тухачевский.
С. Черный	Солдатские сказки.
С. Черный	Сатиры.
С. Черный	Румяная книжка.
С. Черный	Детский остров.
Н. Лейкин	Где апельсины зреют.
А. Блок	Последние дни императорской власти.
С. Карачевцев	1200 анекдотов.
М. Палеолог	Роман Императора.
С. Мельгунов	На путях к дворцовому перевороту.
А. Эфрон (дочь Цветаевой)	Страницы воспоминаний.
Кн. Е. Трубецкой	Смысл жизни.
З. Шаховская	В поисках Набокова.
О. Волконская	Так тяжкий млат.
Л. Зандер	Песнь Господня.
А. Титов	Лето на водах (повесть о Лермонтове).
П. Губер	Дон-Жуанский список А. С. Пушкина.
Вел. Кн. Ал. Михайлович	Книга воспоминаний.
С. Минцлов	За Мёртвыми душами.
Н. А. Тэффи	Воспоминания.
Дневник Императора Николая	II (1890-1906).
Э. Голлербах	Город муз.
Кн. Ф. Ф. Юсупов	Конец Распутина.
М. Цветаева	Психея.
М. Цветаева	Разлука — Стихи к Блоку.
М. Цветаева	Вечерний альбом.
М. Цветаева	Волшебный фонарь.
Россия смеется над СССР.	
Г. Иванов	Избранные стихи
Б. Эйхенбаум	Анна Ахматова
Преосв. Антоний	Словарь к творениям Достоевского
Н. Агнивцев	«Мои песенки»
И. Бунин	Воспоминания.
А. Ремизов	Встречи.
Л. Половцов	Рыцари тернового венца
К. Коровин	Шаляпин.

Издательство принимает рукописи и заказы

на книги по адресу:

LEV

85, Rue Rambuteau

75001 Paris